

# НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ



104 рисунка Александра Агина (1817–1875),  
которые признаны лучшими иллюстрациями к «Мертвым душам».

# МЁРТВЫЕ ДУШИ

КОЛЛЕКЦИОННОЕ  
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ  
ИЗДАНИЕ

Коллекционное иллюстрированное издание

Николай Гоголь  
**Мертвые души. Поэма**

«Алисторус»

1842

УДК 82-31  
ББК 83.3

**Гоголь Н. В.**

Мертвые души. Поэма / Н. В. Гоголь — «Алисторус»,  
1842 — (Коллекционное иллюстрированное издание)

ISBN 978-5-907363-26-7

Гоголь ощущал себя национальным писателем, которому предстоит встать рядом с его кумиром Пушкиным и создать труд, который поставит его имя в первый ряд русских писателей. И трудом этим стала поэма «Мертвые души». Историк и цензор, пропустивший в печать «Мертвые души», А. В. Никитенко писал Гоголю 1 апреля 1842 года: «Не могу удержаться, чтоб не сказать вам несколько сердечных слов, а сердечные эти слова не иное что, как изъяснение восторга к вашему превосходному творению. Какой глубокий взгляд в самые недра нашей жизни! Какая прелесть неподдельного, вам одним свойственного комизма! Что за юмор! Какая мастерская, рельефная, меткая обрисовка характеров!» Ни один просвещенный человек в России не остался равнодушен к новому произведению Гоголя, книга всех тронула, никого не оставила равнодушным. Да и в современной России нетрудно найти гоголевских персонажей. Книга содержит 104 рисунка Александра Агина (1817–1875), которые признаны лучшими иллюстрациями к «Мертвым душам». В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 82-31  
ББК 83.3

ISBN 978-5-907363-26-7

© Гоголь Н. В., 1842

© Алисторус, 1842

## Содержание

Николай Васильевич Гоголь и судьба поэмы «Мертвые души»	7
Сто четыре рисунка к поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»	27
Том первый	30
Глава I	30
Глава II	42
Глава III	60
Глава IV	77
Конец ознакомительного фрагмента.	87

# **Николай Васильевич Гоголь**

## **Мертвые души**

© Гоголь Н. В.

© Агин А. А., иллюстрации

© Вострышев М. И. Предисловие, комментарии, 2022

© ООО «Агентство Алгоритм», оформление, издание, 2022

\* \* \*

## Николай Васильевич Гоголь и судьба поэмы «Мертвые души»

### Биография

Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1809 года в местечке Большие Сорочинцы Полтавской губернии, на квартире здешнего врача (к нему обратились, так как двух первых детей мать родила мертвыми). Новорожденного спустя шесть недель перевезли в отцовское имение Васильевка (Васильевское), или Яновщина, где прошло его детство. Рядом находилось село Диканька, богатое преданиями и прославленное в будущих произведениях новорожденного.

У помещика коллежского асессора Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского и его жены Марии Ивановны Косяровской родилось двенадцать детей, большинство из которых умерло в младенчестве. Николай был старшим ребенком в семье, вырос в атмосфере деревенского быта среди крестьянских детей.

В девять лет Николая отослали в Полтаву, где в августе 1818 году он поступил в уездное училище, позже продолжал учиться в городе Нежин. Здесь с мая 1821 года проходили его отроческие годы, лишь на каникулы он приезжал к родным.

В Нежинской гимназии высших наук, куда принимали только дворянских детей, обучение длилось девять лет. Аттестат, выдаваемый этим учебным заведением, котиrowался наравне с дипломами университетов. Это было закрытое учебное заведение, где существовала суровая дисциплина, стремление воспитать в учениках верность царю и отечеству.

Когда Николаю исполнилось пятнадцать лет, умер отец, что стало для сына невосполнимой утратой. По преданию, один из предков отца, Остап Гоголь, прославился как казацкий полковник и гетман Правобережной Украины. Прадед и дед Василия Афанасьевича были священниками; отец Афанасий Демьянович служил писарем в Генеральной войсковой канцелярии гетмана, вышел в отставку в звании секунд-майора и сумел приобрести потомственное дворянство, после чего сменил родовую фамилию «Яновский» на дворянскую «Гоголь-Яновский».

Василий Афанасьевич служил по почтовому ведомству, в 1805 году вышел в отставку в звании коллежского асессора и навсегда поселился в своем имении, занимаясь его хозяйственным устройством. Он сблизился с Дмитрием Прокофьевичем Трошинским, бывшим министром юстиции и членом Государственного Совета, родственником своей жены. После выхода в отставку Трошинский поселился недалеко от Васильевки, в своем поместье Кибинцы, где Василий Афанасьевич был директором и актером домашнего театра, для которого написал несколько водевилей. Мистика сопровождала всю его жизнь. Еще будучи мальчиком, Василий Афанасьевич увидел сон, в котором Богоматерь указала на его нареченную. Позже он увидел в годовалой дочке соседа-помещика черты предначертанной ему небесами невесты и спустя тринадцать лет сделал ей предложение. Они поженились.

Мария Ивановна еще ребенком вышла замуж и на долгие годы сохранила свою необыкновенную красоту и молодость. Она вспоминала: «Когда мне было четырнадцать лет, нас перенесли в местечке Яресках, потом муж мой уехал, а я осталась у тетки оттого, что была еще слишком молода; потом гостила у родителей, где часть с ним виделась. Но в начале ноября он стал просить родителей отдать ему меня, говоря, что не может более жить без меня. Так вместо году я пробыла у них один месяц. Они благословили меня и отпустили. Он меня привез в деревню Васильевку, где встретили нас отец и мать. Они приняли меня как родную дочь.

Свекровь наряжала меня по своему вкусу и надевала на меня свои старинные вещи. Любовь ко мне мужа была неопишная; я была вполне счастлива. Он был старше меня на тринадцать лет. Я никуда не выезжала, находя все счастье дома».

Среди предков матери было немало представителей запорожского казачества, поэтически воспетого сыном в повести «Тарас Бульба». Кроме Николая у нее дожили до совершеннолетия четыре дочери – Мария (1811–1844), Анна (1821–1893), Елизавета (1823–1864) и Ольга (1825–1907). Мать была набожной женщиной, ее мнительность и дар предвидения в той же мере стали присущи и сыну. В доме Гоголей на стене в гостиной висела картина Страшного Суда. Мать часто приводила ее в пример, что может случиться с греховными людьми.

– Если ты будешь грешить, – наставляла она сына, – то после смерти попадешь в ад, и тебя постигнут те же муки, какие изображены на картине.

Уже повзрослев и навсегда покинув семью, Гоголь искренно писал матери: «Я помню, я ничего в детстве сильно не чувствовал, я глядел на всё, как на вещи, созданные для того, чтобы угодить мне. Никого особенно не любил, включая Вас, и то только потому, что сама натура вдохнула это чувство – я живо, как теперь, помню этот случай, – я просил Вас рассказать мне о страшном Суде, и Вы мне, ребенку, так понятно, так трогательно рассказывали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так страшно описали вечные муки грешников, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность, это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли».

В гимназии Николай из хилого болезненного ребенка превратился в сильного, веселого и падкого на потехи юношу. Он не был прилежным учеником, но ему удавалось сдавать экзамены благодаря блестящей памяти. В «Ведомости о поведении пансионеров за февраль 1824 года» отмечено: «Отметку за поведение получили по единице: Яновский – за неопрятность, шутовство, упрямство и неповиновение...»

Вместе с другими гимназистами (они часто называли себя лицеистами) Николай издавал рукописный журнал, где опубликовал свои первые стихи, поэму и историческую повесть «Братья Твердославичи».

– В стихах упражняйся, – дружески посоветовал ему одноклассник К. М. Базили, – а прозой не пиши, очень уж глупо выходит у тебя. Беллетрист из тебя не вытанцуется, это сейчас видно.

Гоголь хорошо рисовал и увлекался живописью, стал организатором и актером гимназического любительского театра. Особенно ему удавались комедийные роли, среди них Митрофанушки в комедии Фонвизина «Недоросль».

Николай был в меру озорным чудачком, но скрытным и живущим обособленно от интересов сокурсников, особенно тех, кто происходил из богатых привилегированных семей. В. И. Любич-Романович вспоминал: «Гоголь постоянно косился на нас, держался в стороне, смотрел всегда букою. Насмешки наши над Гоголем еще усугублялись потому, что он держал себя каким-то демократом среди нас, детей аристократов, редко когда мыл себе лицо и руки по утрам каждого дня, ходил всегда в грязном белье и выпачканном платье».

Лишь в конце учебы, в 1827 году, Николай свыкся со своими одноклассниками, в его письмах стали появляться веселые строки о гимназической жизни. Да и в одежде он становится опрятнее, хочет выглядеть франтом. Он пишет из Нежина 26 июня 1827 года в Петербург своему приятелю Г. И. Высоцкому: «Мне хочется ужасно как, чтобы к последним числам или к первому ноября я уже получил фрак готовый. Напиши, пожалуйста, какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны. Какой-то у вас модный цвет на фраки? Мне очень бы хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами; а черных фраков у меня много, и они мне так надоели, что смотреть на них не хочется».

Страстный поклонник Александра Пушкина, Николай тщательно переписывал для себя на самой лучшей бумаге, с собственными рисунками стихотворения и поэмы русского гения.



Николай Гоголь-Яновский не любил своей родовой фамилии. Когда его называли Яновским, он возмущенно отвечал:

– Зачем вы меня так называете. Моя фамилия Гоголь, а Яновским – только прибавка, ее поляки выдумали.

В этом утверждении он ошибался, да и ничего толком не знал о своих предках (в отличие от своего кумира Пушкина, досконально изучившего свою родословную).

Гоголь учился неохотно, с ленцой, но обвинял в своем нерадении к учебе исключительно других. Он писал матери 1 марта 1828 года: «Я утерял целые шесть лет даром; нужно удивляться, что я в этом глупом заведении мог столько узнать еще. Кроме неискусных преподавателей наук, кроме великого нерадения и проч., здесь языкам совершенно не учат. Ежели я что знаю, то этим обязан совершенно одному себе. У меня не было других преподавателей, кроме меня самого, а можно ли самому, без помощи других, совершенствоваться?...»

Конечно, можно. Так на Руси поступали талантливые люди во все времена. У Николая же Божий дар пока еще никак не проявлялся.

Во время обучения в Нежинской гимназии Гоголь мечтал о Петербурге, он считал, что лишь там обретет счастье. Окончив гимназию летом 1828 года, он в конце декабря того же года приехал, как ему казалось, на постоянное жительство в столицу Российской империи и решил посвятить себя юстиции.

Но город оказался совершенно не таким, о котором он мечтал, был сер и уныл, переполнен военными и чиновниками. Гоголь еще в гимназии сочинил романтическую поэму «Ганц Кюхельгартен», и в июне 1829 года публикует ее отдельной книгой под псевдонимом В. Алов. Газеты и журналы отозвались на нее резкой критикой или вовсе не заметили. Гоголь, кажется, и сам понял, что поэма плоха, выкупил весь тираж книги и сжег его.

Николай с детских лет был неподражаемым комиком. Приятели говорили, что если он поступит на сцену, то станет знаменитым актером. В Петербурге он попытался так и сделать.

Его принял в своем кабинете директор императорских театров князь С. С. Гагарин и спросил:

– Что вам угодно?

– Я желал бы поступить на сцену, – запинаясь от волнения, ответил провинциальный молодой человек неказистой внешности.

– Ваша фамилия?

– Гоголь-Яновский.

– Из какого звания?

– Дворянин.

– Что же побуждает вас идти на сцену? Как дворянин вы могли бы служить.

– Мне кажется, что я не гожусь для службы. К тому же чувствую призвание к театру.

– Актеру нужен талант.

– Может быть, во мне он есть...

Назначили испытание, после которого доложили Гагарину, что Гоголь-Яновский «оказался совершенно неспособным не только в трагедии или драме, но даже в комедии». Неверное, это случилось из-за чрезмерного волнения экзаменуемого.

В августе 1829 года вместо того, чтобы устраиваться на государственную службу, Гоголь вдруг отправляется в приморский немецкий город Любек, а потом отдыхает в соседнем тихом городке Трансмунде. На это двухмесячное заграничное путешествие он потратил деньги, присланные ему матерью для уплаты в банк обязательных процентов за родовое имение.

Николай по возвращению из заграницы попробовал служить – сначала с 15 ноября 1829 года в течение трех месяцев – в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий, откуда уводился по собственному прошению, и с 10 апреля 1830 года – в департаменте уделов Министерства высочайшего двора. Он пишет матери 1 сентября 1830 года: «Служба моя идет

очень хорошо, начальники мои все прекрасные люди. Всего только четыре месяца, как я служу, а получил на днях уже штатное место, до которого многие по пяти лет дослуживаются, иные даже по десяти, и всё не получают...» Письмо, как и предыдущие, заканчиваются просьбой выслать денег.

На поприще государственной службы Гоголь не добился успеха, по его словам, он был занят лишь тем, что подшивал бумаги. Тогда он решил испытать себя на педагогическом поприще.

Гоголь по собственному прошению 9 марта 1831 года был уволен из департамента уделов и уже на следующий день вступил в должность старшего учителя истории в женском Патриотическом институте. В своих лекциях Николай Васильевич, благодаря блестящему таланту, расцветивал роскошными красками тот или иной эпизод русской и мировой истории, желая увлечь слушательниц. Но он перескакивал с одного исторического эпизода на другой, мало заботясь о цельности и последовательности учебного курса. В конце концов, он разочаровался в своей педагогической деятельности. А благородные девицы, слушавшие его лекции, считали своего преподавателя занудой.

Одновременно с преподаванием в институте Николай Васильевич подрабатывает частными уроками. Его ученик М. Н. Лонгинов вспоминал: «Первое впечатление, произведенное Гоголем на нас, мальчиков от девяти до тринадцати лет, было довольно выгодно, потому что в добродушной физиономии нового учителя, не лишенной, впрочем, какой-то насмешливости, не нашли мы и тени педантизма, угрюмости и взыскательности, которые считаются часто принадлежностью звания наставника. С другой стороны, одно чувство приличия, может быть, удержало нас от порыва смешливости, которую должна была возбудить в нас наружность Гоголя. Небольшой рост, худой и искривленный нос, кривые ноги, хохолок волос на голове, не отличавшейся вообще изяществом прически, отрывистая речь, беспрестанно прерываемая легких носовым звуком, подергивающим лицо, — все это прежде всего бросалось в глаза. Прибавьте к этому костюм, составленный из резких противоположностей щегольства и неряшества, — вот каков был Гоголь в молодости».

Гоголь в начале 1830-х годов, наверное, в надежде стать профессиональным живописцем в течение трех лет посещает натуральный класс Академии художеств. Он признавался: «Я всегда чувствовал маленькую страсть к живописи».

В сентябре 1831 года выходит в свет первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки», а в следующем году — вторая часть. Гоголь неустанно продолжает заниматься литературным трудом. Он мог долго и внимательно слушать рассказы мелких чиновников или ремесленников о своей работе, и полученные от них сведения потом записывал. Эти записочки иногда долго лежали без дела, пока не наступал момент, когда они перерабатывались гениальным воображением писателя в художественное произведение.



Н. В. Гоголь в 1834 году

В июне 1832 года Гоголь приезжает в Москву, где знакомится с писателями С. Т. Аксаковым и М. П. Погодиным, с актером Малого театра М. С. Щепкиным. Прожив здесь месяц, он уезжает в родную Васильевку, откуда в октябре 1832 года возвращается в Петербург.

В начале 1833 года Гоголь задумал многотомный труд, посвященный «всеобщей истории и всеобщей географии» под энциклопедическим названием «Земля и люди». К этому замыслу он возвращался и позднее, но так и не осуществил его. История как наука оказалась для него непосильной ношей.

Гоголя одолевают мучительные раздумья о своей дальнейшей судьбе, он пытается занять кафедру всеобщей истории в Киевском университете, но ему это не удается. Тогда поступает с помощью влиятельных знакомых в июле 1834 года адъюнктом профессора на кафедру все-

общей истории в Петербургском университете. К сожалению, его преподавательская деятельность не удалась из-за скудости его знаний и высокопарной манере говорить с высот учебной кафедры.

Вскоре он стал тяготиться чтением лекций и пишет Михаилу Погодину 14 декабря 1834 года: «Знаешь ли ты, что значит не встретить сочувствия, что значит не встретить отзыва? Я читаю один, решительно один в здешнем университете. Никто меня не слушает, ни на одном, ни разу не встретил я, чтобы поразила его яркая история. И оттого я решительно бросаю теперь всякую художественную отделку, а тем более желание будить сонных слушателей... Хотя бы одно студенческое существо понимало меня. Это народ бесцветный, как Петербург».

Гоголь обвинял в неудачах своей лекторской деятельности исключительно слушателей, а те – исключительно его. Николай Иваницкий вспоминал: «Все последующие лекции Гоголя были очень сухи и скучны, ни одно событие, ни одно лицо историческое не вызвало его на беседу живую и одушевленную... Какими-то сонными глазами смотрел он на прошедшие века и отжившие племена. Без сомнения, ему самому было скучно, и он видел, что скучно и его слушателям. Бывало, придет, поговорит с полчаса с кафедры, уедет, да уж не показывается целую неделю, а иногда и две».

В марте 1835 года выходят в свет два тома повестей Гоголя «Миргород».

Гоголь был уволен от преподавательской деятельности 31 декабря 1835 года «по случаю преобразования» университета. К этому времени он уже более полугода не читал лекций.

В Петербурге на вечере у поэта П. А. Плетнева 20 мая 1831 года Гоголь познакомился со своим кумиром – Пушкиным. Они не стали близкими друзьями, но сохраняли приятельские отношения. Александр Сергеевич в последующие годы опекал своего младшего собрата по перу, хлопотал о постановки его пьес, делился с ним творческими задумками (Гоголь то ли с разрешения Пушкина, то ли без такового использовал его сюжеты, по которым написал «Ревизора» и «Мертвые души»). Крепостной слуга Гоголя Яким Нимченко вспоминал: «Пушкин заходил часто. Небольшого роста, курчавый, рябоватый, некрасивый, одевался странно, кое-как. К Пушкину, бывало, на неделю раза три-четыре с запиской хожу или с письмом».

Когда Пушкин был смертельно ранен на дуэли, Гоголь в отчаянии признавался в письме к своему другу Александру Данилевскому: «Ты знаешь, как я люблю свою мать, но если б я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь: Пушкин в этом мире не существует больше».

В июне 1836 года, после постановки комедии «Ревизор» в Петербурге и Москве, Гоголь уезжает за границу, путешествует по Германии, Франции, Швейцарии. Затем надолго поселяется в Италии. В Риме сблизился с живущими там художниками и литераторами. Уже по первым письмам, полученным его родными и друзьями из заграницы видно, что после многих лет напряженного труда и попыток устроить свою жизнь, в Италии он, наконец, обрел покой и спокойное душевное настроение. Здесь было написано большинство глав «Мертвых душ».

Из Рима Гоголь 2 февраля 1838 года восторженно пишет своему другу А. С. Данилевскому: «Никогда я не чувствовал себя так погруженным в такое спокойное блаженство. О, Рим, Рим! О, Италия! Чья рука вырвет меня отсюда? Что за небо! Что за дни! Лето – не лето, весна – не весна, но лучше и весны и лета, какие бывают в других углах мира. Что за воздух! Пью – не напьюсь, гляжу – не нагляжусь. В душе небо и рай. У меня теперь в Риме мало знакомых, или, лучше, почти никого. Но никогда я не был так весел, так доволен жизнью».

В конце 1838 года в Риме Гоголь познакомился с художником Александром Ивановым (автором картины «Явление Христа народу», которая ныне украшает Третьяковскую галерею). Они подружились, стали неразлучны. Писатель поддерживал живописца советами, призывал его не унывать по случаю недостатка средств, приводя в пример себя. Хотя, конечно, сам никогда так не бедствовал, как многие русские художники.

Михаил Погодин в марте 1839 года приехал в Рим и был чрезвычайно расстроен жалобами Гоголя на свое здоровье.

– Чем же он болен? – спросил один из русских художников.

– Как чем? – удивился Погодин. – Разве вы ничего не знаете?.. У него желудок расстроен, он не может ничего есть.

– Что вы говорите?! – захохотал художник. – Да мы ходим нарочно смотреть, как он обедает. Он ест за четверых с неизменным аппетитом...

В сентябре 1839 года Гоголь вернулся в Москву, где издает свои новые повести петербургского цикла. Он поселился в доме историка и писателя Михаила Погодина на Девичьем поле. Жил как отшельник, занимаясь с утра до вечера литературным трудом. Иногда приходили гости и упрасивали Николая Васильевича почитать что-нибудь из своих произведений. Читал он великолепно, очаровывая слушателей. Здесь они услышали первые главы «Мертвых душ».

Гоголь посещал иногда Английский и Купеческий клубы, главным образом для того, чтобы полакомиться изысканными блюдами. Впрочем, и эти лукулловы обеды нашли свое место в его литературном творчестве.

В мае 1840 года Гоголь возвращается в Италию, где завершает работу над «Мертвыми душами» и «Шинелью». С октября 1841 года по май 1842 года он вновь посещает Россию, откуда, дождавшись выхода в свет первого тома «Мертвых душ», вновь уезжает. Живший с ним вместе в Риме Н. М. Языков пишет 4 (16) февраля 1843 года: «Гоголь ведет жизнь очень деятельную, пишет много; поутру, т. е. до 5 часов пополудни, никто к нему не впускается ни в будни, ни в праздники, это время все посвящено у него авторству, творческому уединению...»

После гибели Пушкина (1837 год) и Лермонтова (1841 год) Белинский признавался в письме к Гоголю: «Вы у нас теперь один, и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связана с вашей судьбою: не будь вас – и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни моего отечества».

Июнь 1843 года Гоголь несколько месяцев гостит во Франкфурте-на-Майне у поэта Василия Жуковского, который продолжал покровительствовать ему на протяжении всей жизни. Жуковский помог устроить молодого писателя на кафедру всеобщей истории в Петербургском университете, неоднократно использовал свои придворные связи и близость к царской семье в интересах Гоголя, одалживал ему крупные суммы денег. Теперь два прославленных литератора общались уже на равных, в продолжительных беседах их объединяла идея о нравственном совершенстве писателя, которое должно лежать в основе творчества, чтобы стать благом для читателей.

Наступившую зиму 1843–1844 годов Гоголь проводит в Ницце. Потом живет в Риме, скитается по Европе, опять проводит долгое время у Жуковского. В 1847 году состоялось их последнее личное свидание, а за три недели до своей смерти Гоголь написал ему последнее письмо.

Все чаще Гоголь повторяет, что нечистая сила влияет на него. С годами у него участились продолжительные обмороки, они вызвали болезненный страх быть принятым за умершего и оказаться заживо погребенным. В начале 1845 года он переживает столь тяжелый кризис, что ему кажется, будто он умирает.

Книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (вышла в свет в январе 1847 года) вызвала бурю осуждений и упреков. Это был другой, незнакомый читателям писатель. В основе книги лежат письма Гоголя реальным своим друзьям (всего 31 письмо). Все адресаты обозначены инициалами, большинство которых легко расшифровать.

Среди немногих людей, положительно отзывавшихся о книге, был славянофил Иван Аксаков: «Много еще пройдет времени, пока уразумеемся вполне все глубокое и строгое зна-

чение Гоголя, этого монаха-художника, христианина-сатирика, аскета и юмориста, этого мученика возвышенной мысли и неразрешимой задачи!»

Самым яростным и непримиримым критиком книги стал Виссарион Белинский, опубликовав в журнале «Современник» резко отрицательную рецензию. Он также пишет открытое письмо Гоголю, в котором говорит: «Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого Вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не потому, чтоб Вы не были мыслящим человеком, а потому, что Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из Вашего прекрасного далека, а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть... Поэтому Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности».

На протяжении двух с половиной десятилетий «Письмо к Гоголю» Белинского не могло быть опубликовано в России и лишь распространялось в рукописных списках. Впервые его напечатал Герцен в Лондоне, в журнале «Полярная звезда». За распространение этого письма в рукописных списках по Петербургу был приговорен к казни писатель Федор Достоевский, которому в последний момент смерть на виселице заменили каторгой. Спустя десять лет, создавая повесть «Село Степанчиково и его обитатели», он выведет в ней тип ханжи Фомы Опискина, который будет часто цитировать пресловутую книгу «Выбранные места из переписки с друзьями».

Белинский был жесток к Гоголю, не пожелав понять искреннюю, хотя и взбалмошную, исповедь писателя. Другие бывшие поклонники таланта Гоголя пошли еще дальше, называя его обманщиком и изменщиком, приписывая ему низкие и подлые цели.

Неудача «Выбранных мест...» была воспринята автором как трагедия всей жизни. Свои произведения, вышедшие прежде этой книги, Гоголь называл по сравнению с ней бесполезными. Его мучают сомнения: нужно ли продолжать писать?..

В феврале 1848 года Гоголь совершает паломничество по Святой Земле, побывал в Иерусалиме и его окрестностях, затем посетил Константинополь и 16 апреля на пароходе «Херсонес» прибыл в Одессу. Две недели он провел здесь в карантине по случаю эпидемии холеры. Из Одессы выехал 7 мая и два дня спустя прибыл в Васильевку. Отсюда совершает поездки в Полтаву, Сорочинцы, Киев.

Гоголь задумал увидеть и понять Россию, которую порядком подзабыл, скитаясь по чужим землям. Но из этой затеи почти ничего не вышло, потому что предпринимать дальние путешествия по необъятным просторам отечества он не смог как по состоянию здоровья, так и за нехваткою денег.

В середине октября 1848 года Гоголь возвращается в Москву, вновь живет у Погодина на Девичьем поле, но отношения между ними начали портиться еще несколько лет назад, когда Погодин настойчиво, но бесполезно просил его печататься в своем журнале «Москвитянин».

В конце декабря 1848 года Гоголь переезжает к графу А. П. Толстому на Никитский бульвар. Он теперь постоянно занимается восстановлением и переделкой второго тома «Мертвых душ». Все чаще впадает в мистическое и меланхолическое настроение, страдая этими недугами с каждым годом все более.

В мае 1849 года Гоголь постоянно жалуется на «тяжелое расстройство нервическое», увеличившееся «от некоторых душевных огорчений». Молва о помешательстве писателя постепенно воцаряется в московском обществе. Поговаривали, что Николай Васильевич окончательно отрекся от литературного призвания, постоянно постится, живет как монах, ничего не читает, кроме Библии.

В июле 1849 года Гоголь посетил Калугу по приглашению своей давней приятельницы А. О. Смирновой-Россет, жены губернатора края. Его поместили во флигеле загородного губернаторского дома. Калужский чиновник Лев Иванович Арнольди, поселившийся рядом,

вспоминал: «По утрам Гоголь запирался у себя, что-то писал, всегда стоя, потом гулял по саду один и являлся в гостиную перед самым обедом... Иногда Гоголь поражал меня своими странностями. Вдруг является к обеду в ярких желтых панталонах и в жилете светло-голубого, бирюзового цвета; иногда же оденется весь в черное, даже спрячет воротничок рубашки и волосы не причесывает, а на другой день, опять без всякой причины, явится в платье ярких цветов, приглаженный, откроет белую, как снег, рубашку, развесит золотую цепь по жилету и весь смотрит каким-то именинником».

После обеда Николай Васильевич часто бросал литературную работу и часами шатался по улицам Калуги, заглядывал в Гостиный двор, книжные лавки и многочисленные магазинчики, знакомился и беседовал с купцами и лавочниками. В конце июля возвратился в Москву. Часто навещает Аксаковых в их подмосковном имении Абрамцево. В эту зиму он, как обычно, не уехал в теплые края, а остался в Москве.

Весной 1850 года Гоголь через Веневитиновых делает предложение Анне Виельгорской и получает отказ. Всю жизнь он так и прожил аскетом, имея с женщинами лишь целомудренные братские отношения (включая и Александру Смирнову-Россет, которую некоторые современники считали возлюбленной писателя). Отказ дочери известного музыканта Михаила Виельгорского потряс Гоголя не столько из-за любви к Анечке, сколько из-за уязвленного самолюбия. Других попыток устроить семейную жизнь ни раньше, ни позже он не предпринимал.

Побывав летом 1850 года в Оптиной пустыни и на родине, с октября 1850 года по март 1851 года Гоголь живет в Одессе, где нет такой холодной зимы, как в Москве. Здесь он познакомился с актером и драматургом Александром Павловичем Толченовым, который вспоминал о своей встрече с прославленным писателем: «Я с трудом мог прийти в себя от изумления: так два часа, проведенные в обществе Гоголя, противоречили тому, что мне до тех пор приходилось слышать о Гоголе как о члене общества. Все слышанное мною про него в Москве и Петербурге так противоречило виденному мною в этот вечер, что на первое время удивление взяло верх над всеми другими впечатлениями. Я столько слышал рассказов про нелюдимость, недоступность, замкнутость Гоголя, про его эксцентрические выходки в аристократических салонах обеих столиц. Так жив еще был в моей памяти рассказ, слышанный мною за два года в Москве, о том, как приглашенный в один аристократический московский дом, Гоголь, заметя, что все присутствующие собрались собственно затем, чтоб посмотреть и послушать его, улегся с ногами на диван и проспал, или притворился спящим, почти весь вечер, — что в голове моей с трудом переваривалась мысль о том, что Гоголь, с которым я только расстался, которого видел сам, был тот же человек, о котором я составил такое странное понятие по рассказам о нем... Сколько одушевления, простоты, общительности, заразительной веселости оказалось в этом неприступном, хоронящемся в самом себе человеке. Неужели, думал я, это один и тот же человек, — засыпающий в аристократической гостиной, и сыплющий рассказами и заметками, полными юмора и веселости, и сам от души смеющийся каждому рассказу смехотворного свойства, — в кругу людей, нисколько не участвующих и не имеющих ни малейшей надежды когда-нибудь участвовать в судьбах России?»

С апреля 1851 года Гоголь опять на два месяца обрел покой у матери и сестер в Васильевке. По воскресеньям посещал церковь, в будни, выпив с утра кофе, принимался за литературную работу и не отрывался от нее по пяти часов кряду. Пообедав, если не продолжал работу, катался на плоту по прудам, встречался с односельчанами и заводил с ними беседы, внимательно выслушивая их рассказы. Вечера проводил с матерью и сестрами, помогал им в домашней работе, даже кроил сестрам платья, рисовал узоры для ковров, которые ткала мать.

В начале июня 1851 года Гоголь вновь селится в Москве у своего друга графа А. П. Толстого во флигеле дома Талызиной на Никитском бульваре. Граф выделил ему несколько комнат на первом этаже, а сам жил наверху двухэтажного особняка. Гоголь то чуждается людей,

то зазывает к себе близких друзей, где читает им новые главы «Мертвых душ» и свои прежние произведения.

Поэт и переводчик Николай Васильевич Берг вспоминал: «Здесь за Гоголем ухаживали как за ребенком, предоставив ему полную свободу во всем. Он не заботился ровно ни о чем. Обед, завтрак, чай, ужин подавались там, где он прикажет... Кроме многочисленной прислуги дома, служил ему в его комнатах собственный его человек из Малороссии именем Семен, парень очень молодой, смирный и чрезвычайно преданный своему барину. Тишина во флигеле была необыкновенная... Когда писание утомляло или надоедало, Гоголь подымался наверх, к хозяину, не то – надевал шубу, а летом испанский плащ без рукавов, и отправлялся пешком по Никитскому бульвару, большею частью налево от ворот».

В конце октября 1851 года Гоголь познакомился с молодым редактором «Правительственного вестника» (будущим известным историческим писателем) Г. П. Данилевским. Григорий Петрович не заметил у прославленного писателя никакого помешательства, о чем ему твердили московские знакомые: «Передо мной был не только не только не душевнобольной или вообще свихнувшийся человек, в тот же самый Гоголь, тот же могучий и привлекательный художник, каким я привык себе воображать его с юности... Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в темно-коричневое длинное пальто и в темно-зеленый бархатный жилет, наглухо застегнутый до шеи, у которой, поверх атласного черного галстука, виделись белые мягкие воротнички рубахи. Его длинные каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие, темные, шелковистые усики чуть прикрывали полные красивые губы, над которыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно, и не улыбаясь даже тогда, когда он говорил что-либо веселое и смешное. Длинный сухой нос придавал этому лицу и этим, сидевшим по его сторонам, осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты».

Всю зиму 1851–1852 годов писатель усердно работает, начинает печатание второго издания своих сочинение с дополнением пятого тома.

Смерть 26 января 1852 года Е. М. Хомяковой, сестры Н. М. Языкова, произвела подавляющее впечатление на Гоголя, дружившего с ней. На первой же панихиде он с грустью заявляет, что теперь для него всё кончено.

Главный врач Шереметевской больницы Алексей Терентьевич Тарасенков, посетивший Гоголя в конце января 1852 года, вспоминал, что увидел знаменитого писателя, занятого энергичной деятельностью, исправляя присланную из типографии корректуру первого тома своих сочинений. Близкие знакомые считали его совершенно здоровым, ожидали от него вскоре второй том «Мертвых душ» и других новых сочинений. Да и сам Николай Васильевич каждое утро с любовью и рвением брался за перо.

Но с 5 февраля Гоголь прекращает литературную работу и другие занятия, перестает принимать пищу и почти не спит. Два дня спустя он исповедуется и причащается. Просит графа А. П. Толстого 10 февраля передать свои рукописи московскому митрополиту Филарету, чтобы тот отобрал, что следует печатать, а что уничтожить. Толстой отказывается выполнить его просьбу.

В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года Гоголь сжег уже подготовленный к печати второй том «Мертвых душ». Вскоре после этого он впадает в глубокую апатию и полное изнеможение.

Утром 21 февраля на 43-м году жизни Николай Васильевич скончался. Его последние слова были: «Лестницу, поскорей давай лестницу». Наверное, он имел в виду божественную лестницу, которая соединяет небо и землю.

После отпевания в университетской церкви Гоголя похоронили на кладбище Данилова монастыря. Но и здесь он не обрел покоя. В начале 1930-х годов кладбище решили ликви-



ровать, и гроб с телом писателя был вырыт из могилы и вскрыт 31 мая 1931 года. Присутствовавшие при этом чиновники и литераторы разобрали на сувениры частицы сохранившейся одежды и костей писателя. Оставшийся прах перезахоронили на Новодевичьем кладбище.

### **История создания и гибели поэмы «Мертвые души»**

Замысел первого тома поэмы «Мертвые души» и начало работы над ним относятся к 1835 году, окончание труда – к осени 1841 года. Поэма напечатана в июне 1842 года отдельным изданием.

Гоголь вспоминал, что сюжет «Мертвых душ», как и сюжет «Ревизора», был дан ему Пушкиным. «Пушкин находил, что сюжет “Мертвых душ” хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров».

В письме от 7 октября 1835 года Гоголь сообщал Пушкину: «Начал писать “Мертвых душ”. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтись. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь».

О дальнейшем развитии замысла Гоголь сообщает 12 ноября 1836 года в письме к Жуковскому: «Всё начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись».

Гоголь начинает осознавать, что он призван решить не частные задачи, а сказать новое слово в русской литературе. Он ощущает себе национальным писателем, которому предстоит встать рядом с его кумиром Пушкиным и создать труд, который, по его словам, «вынесет мое имя». И трудом этим должны стать «Мертвые души». Теперь уже во всех своих прежних сочинениях Николай Васильевич склонен был видеть лишь произведения дрожащей руки начинающего ученика. В обдуманном заново замысле «Мертвых душ» должна была явиться «вся Россия».

Лето 1837 года Гоголь провел в Баден-Бадене в обществе А. О. Смирновой, и в ее доме 14 августа впервые читает главы «Мертвых душ». Присутствовавший на этом чтении А. Н. Карамзин писал матери, что это было лучшее из всего написанного до сих пор Гоголем.

С октября 1837 года по конец лета 1838 года Николай Васильевич прожил в Риме, напряженно работая над «Мертвыми душами».

В конце августа 1838 года Гоголь едет в Париж, и здесь происходит второе чтение «Мертвых душ» для приехавшего сюда Александра Тургенева, который записывает в дневнике; «Верная, живая картина России, нашего чиновничества, дворянского быта, нашей государственной и частной, помещичьей нравственности – характеры, язык, вся жизнь помещиков, чиновников: все тут, и смешно и больно».

В 1839 году в Петербурге Гоголь остановился у Жуковского, который, как воспитатель царских детей, жил тогда в императорском Зимнем дворце. П. В. Анненков вспоминал: «Первые главы “Мертвых душ” были уже им написаны, и однажды вечером, явившись в голубом фраке с золотыми пуговицами с какого-то обеда к старому товарищу своему Н. Я. Прокоповичу, он застал там всех скромных, безызвестных своих друзей и почитателей, которыми еще дорожил в то время... Мы уже узнали, что он собирался прочесть нам новое свое произведение, но приступить к делу было нелегко. Гоголь, как ни в чем не бывало, ходил по комнате, добродушно подсмеивался над некоторыми общими знакомыми, а о чтении и помину не было. Даже раз он намекнул, что можно отложить заседание, но Н. Я. Прокопович, хорошо знавший его привычки, вывел всех из затруднения. Он подошел к Гоголю сзади, ощупал карманы его фрака, вытащил оттуда тетрадь почтовой бумаги в осьмушку, мелко-намелко исписанную и сказал по-малороссийски, кажется, так: “А ще се таке у вас, пане?” Гоголь сердито выхватил

тетрадку, сел мрачно на диван и тотчас начал читать, при всеобщем молчании. Он читал без перерыва до тех пор, пока истощился весь его голос, и зарябило в глазах. Мы узнали таким образом первые четыре главы «Мертвых душ»... Общий смех мало поразил Гоголя, но изъяснение нелицемерного восторга, которое видимо было на всех лицах под конец чтения, его тронуло».

Затем в марте 1840 года Гоголь читал «Мертвые души» в нескольких домах в Москве. По свидетельству С. Т. Аксакова, он прочитал и пятую, и шестую главы.

Постепенно первоначальный замысел усложнился, вырос в грандиозный план произведения, в котором уже не с одного боку, а многосторонне изображалась Россия. В «Авторской исповеди» Гоголь рассказал об этом переходе от смешного сюжета к трагическому, от юмора к сатире. «Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самая охота смеяться создаст сама собой множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то характер? Чем более я обдумывал свое сочинение, тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатались истинно русские, коренные свойства наши. Мне хотелось в сочинении моем выставить преимущественно те внешние свойства русской природы, которые еще не всеми ценятся справедливо, и преимущественно те низкие, которые еще недостаточно всеми осмеяны и поражены. Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические явления, поместить те наблюдения, которые я делал издавна сокровенно над человеком, которые не доверял дотоле перу».

Гоголь все пристальней стал вглядываться в окружающий его мир, изучать русские характеры. «Я стал знакомиться с людьми, от которых мог чему-нибудь научиться и разузнать, что делается на Руси: старался наиболее знакомиться с такими опытными практическими людьми все сословий, которые обращены были лицом ко всяким проделкам внутри России. Мне хотелось сойтись с людьми всех сословий и от каждого что-нибудь узнать».

В результате такого изменения замысла получилось, что Пушкин, ожидавший от автора комического повествования, не только не смеялся, слушая первые главы «Мертвых душ», но воскликнул под конец чтения: «Боже, как грустна наша Россия».

В 1840 году в Риме Гоголь значительно переработал текст. Первые главы он диктовал В. А. Панову, последующие – прибывшему в Рим П. В. Анненкову, который вспоминал: «Ежедневно после завтрака направлялись мы в разные стороны до условного часа, когда положено было сходиться домой для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку на том же столе подальше, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета. Николай Васильевич ждал терпеливо моего последнего слова и продолжал новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслью. Превосходный тон этой поэтической диктовки был так истинен в самом себе, что не мог быть ничем ослаблен или изменен... Случалось, что он прекращал диктовку на моих орфографических заметках, обсуждал дело и, как будто не было ни малейшего перерыва в течении его мыслей, возвращался свободно к своему тону, к своей поэтической ноте».

На протяжении всей творческой работы в Риме над «Мертвыми душами» внимание автора было сосредоточено главным образом на зарисовках дополнительных эпизодов и характеристик, а также на стилистической отделке.

Он 28 декабря 1841 года из Рима пишет С. Т. Аксакову, размышляя над вторым томом поэмы: «Я теперь приготавливаю к совершенной очистке первый том “Мертвых душ”. Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе, и вижу, что их печатание не может обойтись без моего присутствия. Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы.

Печатание поэмы было сопряжено с большими цензурными трудностями, которые Гоголь описал в письме к Плетневу от 7 января 1842 года. Цензоры обвиняли автора в том, что «он вооружается против бессмертия», так как «мертвой души не может быть», а когда им доказывали, что речь идет о «ревизских душах», – заявляли, что «этого и подавно нельзя позволить», так как это-де направлено «против крепостного права». Цензура считала «предприятия Чичикова соблазнительным», так как «пойдут другие брать пример и покупать мертвые души».

В конце концов, Гоголь забрал рукопись из Московского цензурного комитета и через В. Г. Белинского послал ее князю В. Ф. Одоевскому с просьбой хлопотать о ней в Петербурге. В середине февраля 1842 года он получил от Плетнева известие о благополучном повороте дела в цензуре, а 9 марта цензор А. В. Никитенко сделал разрешительную надпись.

Петербургская цензура пропустила поэму, однако, в «Повести о капитане Копейкине» увидела уже прямую критику правительственных учреждений. Гоголь по этому поводу писал 9 апреля 1842 года своему другу Прокоповичу: «Выбросили у меня целый эпизод – Копейкина, для меня очень нужный более даже нежели думают они. Я решился не отдавать его никак. Переделал его уже так, что никакая цензура не может придаться. Генералов я всё выбросил и посылаю его к Плетневу для передачи цензору». Под давлением цензуры изменено было и название поэмы («Приключения Чичикова, или Мертвые души»).

В то время как книга набиралась в типографии, Гоголь сам рисовал обложку для нее, и с этой обложкой книга вышла из печати 21 мая 1842 года. Поступив в продажу, она расходилась с необыкновенной быстротой. Поэме Гоголя суждено было стать одним из важнейших факторов развития русской общественной мысли, становлением общественного самосознания. Начались жесточайшие споры как на страницах газет и журналов, так и в дворянских гостиных.

Автор начинает рассылку подарочных экземпляров своим друзьям и покровителям. Одному из первых – Василию Жуковскому: «Посылаю вам “Мертвых душ”. Это первая часть... Я переделал ее много с того времени, как читал вам первые главы, но все, однако же не могу не видеть ее малозначительности, в сравнении с другими, имеющими последовать за ней частями».

Несмотря на столь явную самоуверенность, «последующие части» так и не увидели свет.

Полемика вокруг «Мертвых душ» сразу же приобрела характер идеологической борьбы, наглядно вскрывший в русском обществе различные, враждебные друг другу направления. С. Т. Аксаков разделил читателей Гоголя на три части: 1) «образованная молодежь и все люди, способные понять высокое достоинство Гоголя» – они приняли книгу с восторгом, 2) люди «озадаченные», смущенные «карикатурой» и «неправдоподобием», 3) явные враги: «Третья часть читателей озлобилась на Гоголя: она узнала себя в разных лицах поэмы и с остервенением вступилась за оскорбление целой России».

Историк и цензор, пропустивший в печать «Мертвые души», А. В. Никитенко писал Гоголю 1 апреля 1842 года: «Не могу удержаться, чтоб не сказать вам несколько сердечных слов, а сердечные эти слова не иное что, как изъявление восторга к вашему превосходному творению. Какой глубокий взгляд в самые недра нашей жизни! Какая прелесть неподдельного, вам одним свойственного комизма! Что за юмор! Какая мастерская, рельефная, меткая обрисовка характеров! Где ударила ваша кисть, там и жизнь, и мысль, и образ – образ так и глядит на вас, впериw свои живые очи, так и говорит с вами, как будто сидя возле вас на стуле, как будто он сейчас пришел ко мне в 4-й этаж прямо из жизни – мне не надобно напрягать сво-

его воображения, чтоб завести с ним беседу, – он живой, дышащий, нерукотворный, божье и русское создание».

Литературный критик В. Г. Белинский видел в «Мертвых душах» произведение «необъятно художественное по концепции и исполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта – и в то же время глубокое по мысли, социальное и общественное и историческое...»

Писатель и философ А. И. Герцен назвал поэму «горьким упреком» и «ужасной исповедью современной Руси», и считал ее автора обличительным в изображении дворянского сословия: «Благодаря Гоголю мы наконец увидели, как они вышли из своих жилищ, из своих барских домов, без масок, без прикрас, вечно пьяные и ненасытные: рабы власти без достоинства и безжалостные тираны своих крепостных, сосущие жизнь и кровь народа с невинностью и простодушием ребенка, сосущего грудь матери. “Мертвые души” потрясли всю Россию. Подобное обвинение необходимо было современной России. Это – история болезни, написанная мастерской рукой».

Поэт и литературный критик К. С. Аксаков: «Давно не было у нас такого движения, какой теперь по случаю “Мертвых душ”. Ни один решительно человек не остался равнодушен, книга всех тронула, всех подняла, и всякий говорит свое мнение. Хвала и брань раздаются со всех сторон, и того и другого много, но зато полное отсутствие равнодушия».

Литературный критик Н. И. Греч: «Содержание этого романа, вкратце, следующее. Один чиновник, выгнанный из службы за воровство и злоупотребления, задумал поправить свое состояние тем, что стал скупать у помещиков души крестьян их, умерших после ревизии, с тем вероятно, чтоб заложить сии существующие только на бумаге души, в Кредитных Установлениях. Он приехал с этой целью в какой-то губернский город, познакомился там с чиновниками и помещиками, и накупил искомого товара порядочное количество, но, не разбирая людей, к которым обращался, вскоре увидел, что его плутни обнаружены, и поспешил выбраться из города, встревоженного слухами – сначала о мнимом его богатстве, а потом о вредных и невероятных замыслах. Вот и все. Чичиков жестоко смахивает на Хлестакова в “Ревизоре”: там вздорный мальчишка всполошил всех дураков и негодяев в городе, здесь отъявленный негодяй привел в недоумение целую губернию».



Карандашный портрет Н. В. Гоголя. Э. А. Дмитриев-Мамонов, 1840-е гг.

Сенатор К. Н. Лебедев: «По содержанию и связи повести или поэмы – это вздор, суший вздор, небылица, но по подробностям, по описанию портретов – это замечательное произведение, верность их несомненна. Это русские люди, русские привычки, манеры и речи, подмеченные острым, зорким умом русским».

Жандармский генерал С. В. Перфильев: «Не смею говорить утвердительно, но признаюсь: “Мертвые души” мне не так нравятся, как я ожидал. Даже как-то скучно читать, всё одно

и то же, натянуто – видно желание перейти в русские писатели, употребление руссизмов вставочное и не выливается из характера лица, которое их говорит».

Московский промышленник, славянофил Ф. В. Чижов (из письма Гоголю): «В первый раз я прочел его [«Мертвые души»] в Дюссельдорфе, и оно просто не утомило, а оскорбило меня. Утомить безотрадною выставленных характеров не могло, – я восхищался талантом, но, как русский, был оскорблен до глубины сердца. Дошло дело до Ноздрева, отлегло от сердца. Выставляйте вы мне печальную сторону, разумеется, по самолюбию будет больно читать, да есть истинное, а как же вы во мне выставите пошлым то, где пошлость в одной внешности? Чувство боли началось со второй страницы, где вы бросаете камень в того, кого ленивый не бьет, – в мужика русского... Один приятель мой, петербургский чиновник, первый своим неподдельным восторгом сблизил меня с красотами “Мертвых душ”, я прочел еще раз, после читал еще, отчетливее понял, что восхищало меня, но болезненное чувство не истребилось. Чиновник этот не из среды России – он родился и вырос в Петербурге, ему непонятны те глупости, какие у нас взрошены с детства».

Начало работы над вторым томом поэмы «Мертвые души», по свидетельству автора, относится к 1840 году. Хотя уже в письме М. П. Погодину от 28 ноября 1836 года Гоголь говорит, что поэма должна быть «длинной», «в несколько томов».

Гоголь из Рима 28 декабря 1840 года, в период завершения работы над первым томом, пишет С. Т. Аксакову: «Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы».

Гоголь из Москвы 17 марта 1842 года пишет П. А. Плетневу: «Ничем другим не в силах я заняться теперь, кроме одного постоянного труда моего. Он важен и велик, и вы не судите о нем по той части, которая готовится теперь предстать на свет (если только будет конец ее непостижимому странствованию по цензурам). Это больше ничего, только крыльцо к тому дворцу, который во мне строится».

Подобных авторских признаний было множество после выхода из печати первого тома «Мертвых душ». Они породили слухи, что второй том выйдет в свет почти тотчас же за первым. Но замысел продолжения поэмы еще долгое время оставался лишь замыслом, хотя автор не переставал уверять знакомых, что усиленно работает над нею. Пробовал работать, но не получалось так быстро и хорошо, как с первым томом. К тому же из России Гоголь опять поспешил в Европу, где проводил довольно рассеянную бестолковую жизнь. Но так не могло продолжаться вечно, надо было или заканчивать второй том Мертвых душ», или... Гоголь постепенно начинает все более уделять времени чтению церковной литературы, исполнению церковных обрядов, искать, вернее, вербовать, союзников на новом «духовном пути».

С. Т. Аксаков вспоминал: «Решительно не знаю, какие житейские дела могли отнимать у Гоголя время и могли мешать ему писать. Книжными делами заведывали Прокопович и Шевырев, в деньгах он был обеспечен, из дома его ничто не беспокоило. Мне кажется, эта помеха была в его соображении. Я думаю, что Гоголю начинало мешать его нравственно-наставительное, так сказать, направление. Гоголь, погруженный беспрестанно в нравственные размышления, начинал думать, что он может и должен поучать других, и что поучения его будут полезнее его юмористических сочинений».

Сам Сергей Тимофеевич, получив от Николая Васильевича очередное духовное поучение, не сдержался и резко ответил: «Терпеть не могу нравственных рецептов, ничего похожего на веру в талисманы. Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник».

Гоголь 6 октября 1843 года поручил Шевыреву приступить ко второму изданию первого тома «Мертвых душ», причем от переработки написанного отказывался. Но в письме Шевыреву от 2 февраля 1844 года Николай Васильевич приостановил подготовку к печатанию. Он все-таки решил переработать текст. Свое обещание он не выполнил и в 1846 году выпустил в

свет тот же текст «Мертвых душ» с предисловием, в котором пообещал продолжить работу над поэмой, и сообщил, что для этого продолжает упорно собирать материалы о русской жизни. Он обращался к читателю со странным для писателя предложением: «В книге этой многое описано неверно, не так, как есть и как действительно происходит в русской земле, потому что я не мог узнать всего: мало жизни человека на то, чтобы узнать одному и сотую часть того, что делается нашей земле... Как бы, например, хорошо было, если бы хотя один из тех, которые богаты опытом и познанием жизни и знает круг тех людей, которые мною описаны, сделал свои заметки сплошь на всю книгу, не пропуская ни одного листа ее, и принялся бы читать ее не иначе, как взявши в руки перо и положивши перед собою лист почтовой бумаги и после прочтения нескольких страниц припомнил бы себе всю жизнь свою и всех людей, с которыми встречался, и все происшествия, случившиеся перед его глазами, и всё, что видел сам или что слышал от других, подобного тому, что изображено в моей книге, или же противоположного тому, всё бы это описал в таком точно виде, в каком оно предстало его памяти, и посылал бы ко мне всякий лист по мере того, как он испишется, покуда таким образом не прочтется им вся книга. Какую бы кровную он оказал мне услугу!..»

Первый том при жизни автора больше не переиздавался.

Встретившись в Дюссельдорфе с Жуковским в августе 1843 года, Гоголь, наконец, приступает к работе над вторым томом. После его отъезда отсюда в Ниццу Жуковский сообщает, что «он отправился от меня с большим рвением снова приняться за свою работу».

Начатый труд, действительно, не прерывался и в Ницце. Оттуда он сообщает Жуковскому 2 декабря: «Я продолжаю работать, то есть набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание “Мертвых душ”».

«Набрасывать хаос» Гоголь продолжает до своего отъезда в начале осени 1844 года во Франкфурт-на-Майне. Здесь работа идет более сосредоточено, хотя время от времени автора мучат хандра и бессилие. Гоголь понимает, что он и нравственно, и телесно очень отличен от того писателя, который не достигнув еще 30 лет, сел на написание первого тома «Мертвых душ». Он видел надвигающееся творческое бессилие, безмерно страдал от этого, искал способы скрыть от знакомых и по возможности остановить увядание таланта.

В конце июня или начале июля 1845 года Гоголь сжег рукопись второго тома «Мертвых душ». Причину поступка писатель объяснил тем, что недостаточно «вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы... что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе “Мертвых душ”, а оно должно быть едва ли не главное; а потому он и сожжен».

Позже писатель более высокопарно говорил об этой «оптимистической трагедии»: «Затем сожжен второй том “Мертвых душ”, что так было нужно. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Нелегко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясением, где было много такого, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу».

Что же именно сжег Гоголь?.. Ответ можно получить, рассмотрев сохранившийся от этого этапа работы текст пятой из уцелевших тетрадей без позднейших приписок, тесно связанный по содержанию с первой из пяти карманных записных книжек Гоголя. Тетрадь написана летом 1844 года. В ней генерал-губернатор восстанавливает против себя всех подчиненных своей чрезмерной прямолинейностью. В дидактической форме здесь намечен тип образцового администратора, набравшегося «прямых и положительных сведений о делах, внутри происходящих». Текст напоминает отдельные статьи из книги «Выбранные места из переписки с друзьями», напечатанной спустя полтора года. От сожжения эту главу, кроме простой случайности, могла уберечь как раз ее близость к задумавшемуся тогда циклу дидактических писем, и она подходила к новому замыслу. Судя по всему, она и была последней из глав сожжен-

ного тома, написанных Гоголем в 1845 году. Первая глава была посвящена псовой охоте, тема второй главы не установлена, третья – рыбной ловле и разнообразным кушаньям, содержание остальных глав неясно. Да и существовали ли они?.. Или это были лишь черновые наброски?..

Сожжение в 1845 году рукописи Гоголь охарактеризовал: «Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу».

Но прежде, чем начать работу над столь ясной теперь картиной второго тома поэмы, Гоголь сначала занялся составлением и изданием сборника «Выбранные места из переписки с друзьями», вышедшую в свет в январе 1847 года, после чего одна часть читателей подняла его на смех, как автора откровенной глупости, а другая – главным образом, набожные дамы, – стали почитать за духовного прорицателя. От безудержной злой полемики Гоголь растерялся, пытался оправдываться, и ему явно было не до «Мертвых душ».

К работе над его второй редакцией второго тома Гоголь приступил лишь в 1848 году. Но собирать материалы для нового, грандиозного замысла начал, по-видимому, сразу же по уничтожению первой редакции. Он писал весной 1847 года: «Все сведения, которые я приобрел с неимоверным трудом, мне недостаточны для того, чтобы “Мертвые души” мои были тем, чем им следует быть».

Собиранию материалов Гоголь придавал огромное значение. Прежде всего, он считал необходимыми сведения о «вещественной и духовной статистике России». Он стремился привлечь к собиранию материалов многих своих друзей, обращаясь вместе с тем и к посторонним лицам. Так, брат поэта Языкова делал для Гоголя записи в районах Волги, где должно было развернуться действие поэмы. Жене своего приятеля А. С. Данилевского Гоголь поручил составлять для него «типы», то есть, взявши кого-нибудь из тех, которых можно назвать представителем его сословия, изобразить в его лице то сословие, которого он представитель, например, под такими названиями: киевский лев; чиновник-европеец, чиновник-старовер.

В ноябре 1848 года Гоголь еще не приступал к окончательному построению тома.

Свою хандру Гоголь выплескивает Жуковскому в письме от 3 апреля 1849 года: «Не могу понять, отчего не пишется и отчего не хочется говорить ни о чем. Та же неподвижность и в моих литературных занятиях. И ничего не издал в свет и ничего не готовлю; что и приготавливаю, то идет медленно и не может никак выйти скоро. Отчего, зачем нашло на меня такое оцепенение, этого не могу понять».

А не пишется о России, и чем дальше, тем это чувство будет посещать чаще, потому что писатель живет, главным образом, за ее пределами, и надеется, что читатели ему будут присылать письма, и они натолкнут его на литературную работу. Но такое встречается только в сказках. А сидя во французском ресторане мысли чаще витают вокруг блюд французской кухни. Если же он путешествует теперь по России, то постоянно окружен знакомыми из высшего света, ведет безалаберную жизнь, переезжая из одной усадьбы знакомого и другой, и сам уже становится похож на персонажа «Мертвых душ».

Но уже в середине мая 1849 года Гоголь пишет Жуковскому, что «ждет нетерпеливо прочесть... всё, что среди колебаний и тревог удалось создать».

С апреля 1849 года Гоголь в России. Но ему не до работы: отдыхает в Одессе, едет на родину в Васильевское, посещает Полтаву, Диканьку, Киев... Везде ему сопутствует хандра, которую не утишают даже богослужения, которые он неустанно посещает. Разговоры ведет лишь о церковной литературе, о поездке к Святым местам. А его постоянно спрашивают о втором томе «Мертвых душ», и он время от времени вынужден садиться за работу, чтобы прочитать отрывок из новой главы в литературном салоне.



Летом и осенью 1849 года Гоголь читал отдельные главы, чаще всего первой, наиболее законченной, или наброски глав своим друзьям, и один из слушателей Л. Арнольди отмечал, что у Гоголя в портфеле в то время уже были все главы второй части «Мертвых душ», «тогда уже почти конченных вчерне». Судя по всему, этот слух исходил от самого Гоголя.

Чтения вызвали единодушный восторг у слушателей (среди них уже не было прежних московских славянофилов, иногда критиковавших писателя). По словам А. О. Смирновой, первый том совершенно побледнел в ее воображении перед вторым: здесь юмор возведен был в высшую степень художественности и соединялся с пафосом, от которого захватывало дух.

Но было и другое мнение. Славянофил Ю. Ф. Самарин вспоминал: «Никогда не забуду я того глубокого и тяжелого впечатления, которое Гоголь произвел на Хомякова и меня раз вечером, когда он прочел нам первые две главы второго тома. По прочтении он обратился к нам с вопросом: “Скажите по совести только одно – не хуже первой части?” Мы переглянулись, и ни у него, ни у меня не достало духу сказать ему, что мы оба думали и чувствовали. Я глубоко убежден, что Гоголь умер оттого, что он сознавал про себя, насколько его второй том ниже первого, сознавал и не хотел самому себе признаться, что он начинал подрумнивать действительность».

В 1849–1850 годах Гоголь, занимаясь окончательной отделкой глав, по-видимому, многое исправлял и дополнял. Он писал своей приятельнице А. О. Смирновой: «Вижу, что много нужно еще приготовить: нужно внимательно, и даже очень внимательно, прочесть всё то, что знакомит нас с краем нашим».

В январе 1850 года Гоголь писал П. А. Плетневу: «Конец делу еще не скоро... Все почти главы соображены и даже набросаны, но именно не больше как набросаны, собственно написанных две-три только».

Большую часть года он проводит в разъездах – у старцев в Оптиной пустыни, у И. Киреевского в Долбине, у А. Елагиной в Петрищеве, на родине в Васильевском, в Одессе. Денег катастрофически не хватает, и Николай Васильевич обращается за помощью к шефу жандармов графу А. Ф. Орлову: «Ваше сиятельство, милостивый государь! Покуда прибегаю к вам более за советом, чем с просьбой. Скажите мне откровенно, можно ли и прилично ли ввести государя-наследника в мое положение. Обстоятельства мои таковы, что я должен буду просить позволения и даже средств проводить три зимних месяца в году в Греции или на островах Средиземного моря и три летних где-нибудь внутри России. Это не прихоть, но существенная потребность моего слабого здоровья и моих умственных работ... А между тем предмет труда моего немаловажен. В остальных частях “Мертвых душ”, над которыми теперь сижу, выступает русский человек уже не мелочными чертами своего характера, не пошлостями и странностями, но всей глубиной своей природы и богатым разнообразием внутренних сил, в нем заключенных. Многое, нами позабытое, пренебреженное, брошенное, следует выставить ярко в живых, говорящих примерах, способных подействовать сильно. О многом существенном и главном следует напомнить человеку вообще и русскому в особенности...»

Требовательность Гоголя к своему произведению выросла по мере продвижения работы. Между тем и друзья, и критики нетерпеливо напоминали ему о необходимости, наконец, выпустить в свет им самим обещанный читателю второй том поэмы. В письмах писатель обещает приехать в Петербург для печатания второго тома весной 1851 года. Потом он откладывает поездку на осень, но осенью вдруг совсем отказывается от опубликования своего труда, заявляя, что в нем всё покуда не годится, и что надо всё переделать.

Далеко не все современники, хорошо знавшие Гоголя, были уверены, что он действительно много сил отдает созданию второго тома. Работа над ним, растянувшаяся на десять лет, более напоминали мистификацию. Писать Николай Васильевич стал вяло, мрачнел все более.

Гоголь возвращается в Москву 5 июня 1851 года с рукописью второго тома и проживает на Никитском бульваре в доме Талызина у графа А. П. Толстого. Надо заметить, что в это время

Николай Васильевич пишет, а потом переписывает начисто свое последнее произведение – «Размышления о Божественной Литургии». Он зорко охраняет портфель со своими сочинениями, так что о его содержании разлетаются всевозможные слухи, чаще всего легендарные. Однако Николай Васильевич не отказывается прочитать близким знакомым несколько глав, или отрывков из глав.

Однажды один из гостей Гоголя не удержался и заметил ему, что уже несколько месяцев не слышно от него ни одной новой строки. Николай Васильевич грустно улыбнулся и ответил: «Да, как странно устроен человек: дай ему все, чего он хочет для полного удобства жизни и занятий, тут-то он и не станет ничего делать; тут-то и не пойдет работа».

По воспоминаниям очевидцев известно содержание первых шести глав второго тома, прочитанных автором у своих друзей: Л. И. Арнольди, А. О. Смирновой и С. П. Шевырева. В этих главах рассказывалось, как Чичиков привез Тентетникова к генералу Бетрищеву, как произошло окончательное примирение, и генерал дал согласие на брак Тентетникова и Уленьки. Но до свадьбы Тентетников, замешанный в политическом деле, был арестован и сослан в Сибирь; Уленька последовала за ним в ссылку и там вышла за него замуж.

О содержании дальнейших глав есть сведения в изложении духовника Гоголя, М. Константиновского, видевшегося с Гоголем в начале 1852 года: «Гоголь показал мне несколько разрозненных тетрадей с надписями: *глава*, как обыкновенно писал он главами. Помню, на некоторых было написано: глава I, II, III, потом, должно быть, VII, другие были без означения... В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены такие черты, которых... во мне нет, да к тому же еще с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой тетради были наброски... только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за нее даже больше, чем за Переписку с друзьями».

Гоголь то соглашается с советами друзей готовить к печати второй том «Мертвых душ», то откладывает это намерение, ссылаясь на очередной приступ болезни. Иногда гостей предупреждали, что Николай Васильевич не любит беседовать о «Мертвых душах».

С. Т. Аксаков писал С. П. Шевыреву в 1852 году: «В самое последнее свидание с моей женой Гоголь сказал, что он не будет печатать второго тома, что в нем все никуда не годится, и что надо все переделать. Только про первую главу второго тома он сказал мне, что она получила последнее прикосновение – была тронута кистью художника, говоря техническим языком живописцев».

Последний текст Гоголя, переписанный набело им самим (некоторые знакомые, посещавшие Николая Васильевича в эти дни, утверждают, что таких глав было три или четыре), Гоголь сжег в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года в печке дома на Никитском бульваре, где проживал последнее время. В воспоминаниях современников этот акт описан с множеством подробностей, хотя на нем, кроме Гоголя, присутствовал лишь мало что понимавший в происходящем мальчик-камердинер.

В той же печке был сожжен переписанная начисто рукой Гоголя последняя рукопись – «Размышления о Божественной Литургии». Утверждают, что по ошибке. Эта последняя работа писателя была издана по черновикам в 1889 году.

Неделю спустя Гоголь слег в постель и совсем перестал принимать пищу. 20 февраля 1852 года он впал в беспамятство и утром следующего дня скончался.

Уцелевшие в черновиках главы второй части «Мертвых душ» были впервые опубликованы в Москве в 1855 году под названием «Сочинения Гоголя, найденные после смерти».

## Сто четыре рисунка к поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»

Иллюстрации к «Мертвым душам», от которых в 1846 году отказался Н. В. Гоголь, были сделаны рисовальщиком-иллюстратором Александром Алексеевичем Агиным и гравировались для печати на дереве Евстафием Бернадским. В полном виде графическая серия Агина – Бернадского увидела свет уже после смерти авторов, в 1892 году, когда Д. Д. Федоров по случаю приобрел у наследников Горяинова (он финансировал создание иллюстраций Агина с Бернадским) все доски и издал рисунки отдельным альбомом под названием – «Сто рисунков к поэме Н. В. Гоголя Мертвые души», с клише, как изданных, так и остальных отгравированных Бернадским 28 рисунков. Через полгода, в том же году вышел еще альбом под заглавием «Сто четыре рисунка к поэме Гоголя, Мертвые души. Третье издание (20-я тысяча)».

Гравюра, как техника живая и четкая, может кое-что внести в художественный образ самой книги. Этого и испугался Николай Васильевич Гоголь. Гоголь сел за приготовление мягкой обложки для поэмы, изданной в 1842 году, и сам нарисовал оригинал. На обертке под несущимся быстро тарантасом изображены: с левой стороны часть деревни, с правой – верстовой столб. Между ними с той и другой стороны бутылки с рюмками и бокалами, закуски в виде рыб на блюде; солонка, бутылка сверху как бы венчает этот ряд изображений, которому внизу соответствуют также бутылки с бокалами и блюдо с большим осетром и мелкими рыбками, – как на трапезе у полицмейстера, к которому пристроился Собакевич. Изображений живых людей немного – только два: на правом поле пьяный мужичок, пляшущий подбоченившись с чаркой в руке, и танцующая на балу пара. Зато эмблемы смерти в обилии рассыпаны по всей картине: скелеты, скелеты и черепа, черепа... это же реквием по Мертвым Душам, путь к их бессмертию, а рядом дураки, мерзкие дороги и вечно пьяные мужики! О, Русь! Ну а гравер Е. Е. Бернадский был вынужден издать рисунки А. А. Агина отдельным альбомом в 1846 году, т. к. писатель категорически возражал против иллюстрирования его поэмы. За несколько месяцев до этого гравер предлагал Гоголю 1500 рублей серебром за право издать его поэму с иллюстрациями Агина. В письме к П. А. Плетневу Гоголь отклонил это предложение. Отклонил по ряду соображений, между прочим и потому, что он – «враг всяких политипажей и модных выдумок». Книга, по его глубокому убеждению, должна сама прокладывать себе путь к читателю, прокладывая своим содержанием, которое не следует «подслащивать этим кондитерством» – иллюстрациями (Письмо от 20 марта 1846 г.).

Гениальный тандем: Агин-Бернадский перевернул наше представление о роли иллюстрации в вопросе восприятия литературного произведения. Прав был Гоголь – эти рисунки могли сильно повлиять на восприятие читателем поэмы.

*Михаил Вострышев*



«Сто рисунков к поэме Н. В. Гоголя Мертвые души»

# СТО ЧЕТЫРЕ РИСУНКА

КЪ ПОЭМѢ

Н. В. ГОГОЛЯ

## „МЕРТВЫЯ ДУШИ“.



Рисовалъ А. Агинъ.

Гравировалъ Бернгардскій.

*Третье изданіе.*

(20-я тысяча.)

*Издание Д. Д. Олшарова.*  
1892.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

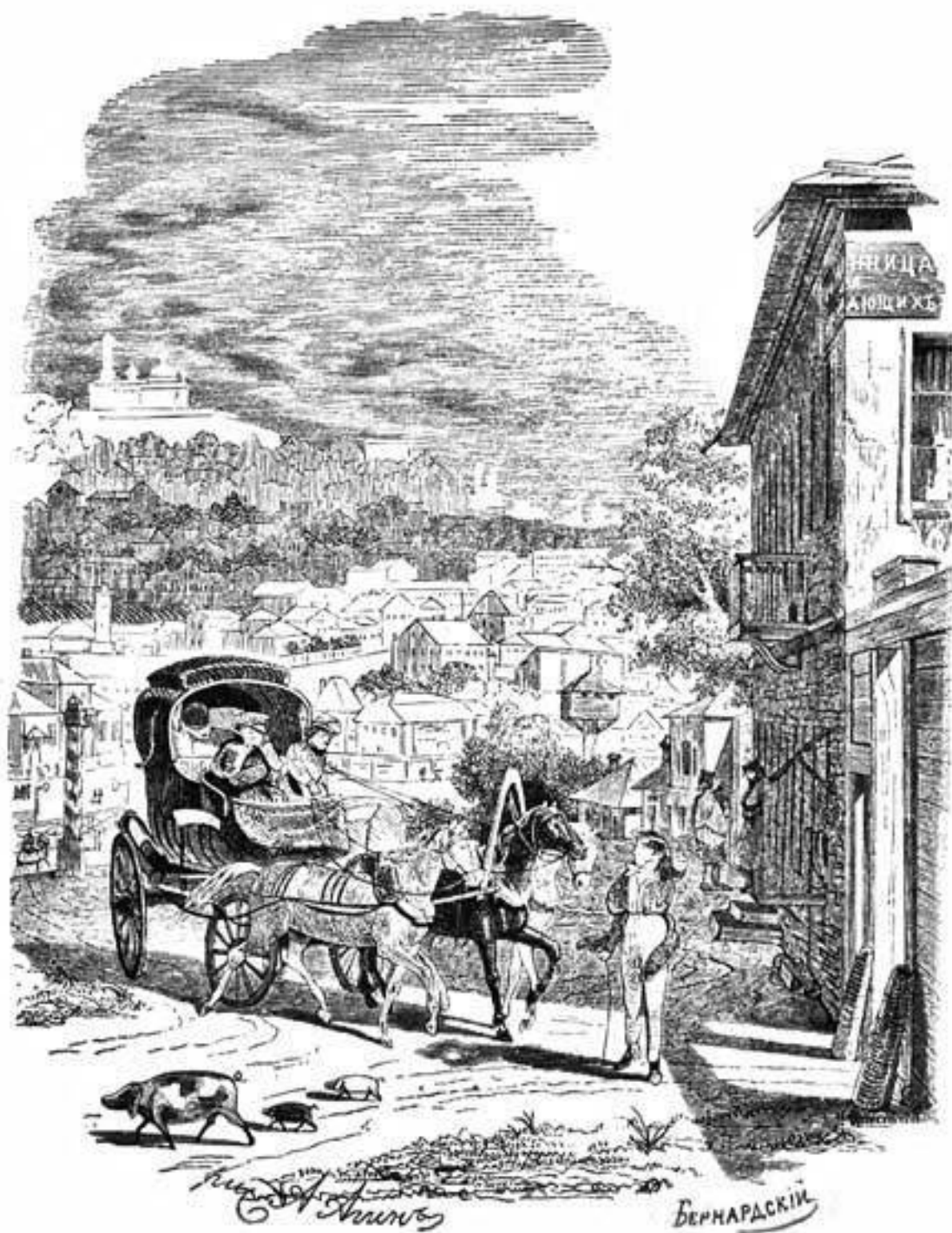
Литвы и Цехъ  
Загородный восток., 22.

«Сто четыре рисунка к поэме Гоголя, Мертвые души. Третье издание (20-я тысяча)»

## Том первый

### Глава I

В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты», сказал один другому, «вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?» – «Доедет», отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», отвечал другой. – Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покусеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой.



*Въезд Чичикова в губернский город NN*

Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном демикотонном сюртуке со спинкою чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галерее показывать ниспосланный ему богом покой. – Покой был известного рода; ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля

в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверь в соседнее помещение, всегда заставленную комодом, где устраивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности: она была очень длинна, в два этажа; нижний не был оштукатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угловой из этих лавочек, или, лучше, в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною, как смоль, борою.





*«Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой*

Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенькой человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет тридцати, в просторном подержанном сюртуке, как видно с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева, с штучными выкладками из карельской березы, сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Когда всё это было внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал устраиваться в маленькой передней, очень темной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщен и принесенному вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трехногую кровать, накрыв ее небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским, как блин, и, может быть, так же замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.



*Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет тридцати, в просторном подержанном сюртуке, как видно с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом*

Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы – всякой проезжающий знает очень хорошо: те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою известную пару чаю; тот же закопченный потолок, та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу; те же картины во всю стену, писанные масляными красками; словом, всё то же, что и везде; только и различия,

что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусств, накупившими их в Италии, по совету везших их курьеров. Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым, наверное не могу сказать, кто делает, бог их знает: я никогда не носил таких косынок. Размотавши косынку, господин велел подать себе обед. Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярку жареную, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам; покамест ему всё это подавалось, и разогретое и просто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать всякий вздор о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин; на что половой по обыкновению отвечал: «О, большой, сударь, мошенник». Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не всё пустые вопросы; он с чрезвычайною точностью расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор, словом – не пропустил ни одного значительного чиновника; но еще с большею точностью, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках, сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город; расспросил внимательно о состоянии края: не было ли каких болезней в их губернии, повальных горячек, убийственных каких-нибудь лихорадок, оспы и тому подобного, и всё так обстоятельно и с такою точностью, которая показывала более, чем одно простое любопытство. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-видимому, совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее и, нагнувши с вышины свою голову, спрашивал: не нужно ли чего? После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой номер, где, прилегши, заснул два часа. Отдохнувши, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги, чин, имя и фамилию, для сообщения, куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям. Когда половой всё еще разбирал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось удовлетворен, ибо нашел, что город никак не уступал другим губернским городам: сильно была в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов; местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения народа и живописи. Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавского портного; где магазин с картузами, фуражками и надписью: «Иностранец Василий Федоров»; где нарисован был билиярт с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша.

Под всем этим было написано: «И вот заведение». Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло; где харчевня с нарисованною толстою рыбою и воткнутою внес вилкою. Чаше же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконическою надписью: «Питейный дом». Мостовая везде была плоховата. Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких деревьев, дурно принявшихся, с подпорками внизу в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых деревьев, дающих прохладу в знойный день, и что при этом было очень умирительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику. Расспросивши подробно булочника, куда можно пройти ближе, если понадобится к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посредине города, дорогою оторвал прибитую к столбу афишу с тем, чтобы, пришедши домой, прочитать ее хорошенько, посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик в военной livree, с узелком в руке, и, еще раз окинувши всё глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой номер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою. Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе свечу, вынул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма г. Коцебу, в которой Ролла играл г. Поплёвин, Кору – девица Зяблова, прочие лица были и того менее замечательны; однако же он прочел их всех, добрался даже до цены партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского правления, потом перевернул на другую сторону узнать, нет ли и там чего-нибудь, но, не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать всё, что ни попадалось. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства.



*...расспросил внимательно о состоянии края: не было ли каких болезней в их губернии – повальных горячек, убийственных каких-либо лихорадок, оспы и тому подобного...*

Весь следующий день посвящен был визитам; приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам. Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову, был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде; впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю. Потом отправился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у полицеймейстера, у откупщика, у начальника над казенными фабриками... жаль, что несколько трудно упомянуть всех сильных мира сего; но довольно сказать, что приезжий оказал необыкновенную деятельность насчет визитов: он явился даже засвидетельствовать почтение инспек-

тору врачебной управы и городскому архитектору. И потом еще долго сидел в бричке, придумывая, кому бы еще отдать визит, да уж больше в городе не нашлось чиновников. В разговорах с сими властителями он очень искусно умел польстить каждому. Губернатору намекнул как-то вскользь, что в его губернию въезжаешь как в рай, дороги везде бархатные, и что те правительства, которые назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы. Полицеймейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских будочников; а в разговорах с вице-губернатором и председателем палаты, которые были еще только статские советники, сказал даже ошибкою два раза ваше превосходительство, что очень им понравилось. Следствием этого было то, что губернатор сделал ему приглашение пожаловать к нему того же дня на домашнюю вечеринку, прочие чиновники тоже, с своей стороны, кто на обед, кто на бостончик, кто на чашку чаю.

О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить; если же говорил, то какими-то общими местами, с заметною скромностью, и разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты: что он незначущий червь мира сего и не достоин того, чтобы много о нем заботились, что испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успокоиться, ищет избрать наконец место для жительства, и что, прибывши в этот город, почел за неприменный долг засвидетельствовать свое почтение первым его сановникам. – Вот всё, что узнали в городе об этом новом лице, которое очень скоро не преминуло показать себя на губернаторской вечеринке. Приготовление к этой вечеринке заняло с лишком два часа времени, и здесь в приезде оказалась такая внимательность к туалету, какой даже не везде видывано. После небольшого послеобеденного сна он приказал подать умыться и чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, подперши их изнутри языком; потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенце, вытер им со всех сторон полное свое лицо, начав из-за ушей и фыркнув прежде раза два в самое лицо трактирного слуги. Потом надел перед зеркалом манишку, выщипнул вылезшие из носу два волоска и непосредственно за тем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Таким образом одевшись, покатился он в собственном экипаже по бесконечно широким улицам, озаренным тощим освещением из кое-где мелькавших окон. Впрочем, губернаторский дом был так освещен, хоть бы и для бала; коляски с фонарями, перед подъездом два жандарма, форейторские крики вдали – словом, всё как нужно. Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Всё было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь и опять прилететь с новыми докучными эскадронами.



*Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!», если же король: «Пошел, тамбовский мужик!»*

Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивши руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись во что бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни тоненькие, которые всё увивались около дам; некоторые из них были такого рода, что с трудом можно было отличить их от петербургских: имели так

же весьма чисто, обдуманно и со вкусом зачесанные бакенбарды, или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно подседали к дамам, так же говорили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват; волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер чорт меня побери, как говорят французы; волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особнным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а всё прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят; на них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в шкатулках благодать божия. У тоненького в три года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард; у толстого спокойно, глядь, и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. Наконец толстый, послуживши богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским барином, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А после него опять тоненькие наследники спускают, по русскому обычаю, на курьерских всё отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием этого было то, что он наконец присоединился к толстым, где встретил почти всё знакомые лица: прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом, так, как будто бы говорил: «пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу», – человека, впрочем, серьезного и молчаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа; председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека, которые все приветствовали его как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался, несколько набок, впрочем не без приятности. Тут же познакомился он с весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим на взгляд Собакевичем, который с первого раза ему наступил на ногу, сказавши: «прошу прощения». Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном. Они сели за зеленый стол и не вставали уже до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда наконец предаются занятию дельному. Хотя почтмейстер был очень речист, но и тот, взявши в руки карты, тот же час выразил на лице своем мыслящую физиономию, покрыл нижнюю губу верхнюю и сохранил такое положение во всё время игры. Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!», если же король: «Пошел, тамбовский мужик!» А председатель приговаривал: «А я его по усам! А я ее по усам!» Иногда при ударе карт по столу вырывались выражения: «А! была не была, не с чего, так с бубен!», или же просто восклицания: «черви! червоточина! пикенция!», или «пикендрас! пичурушух! пичура!» и даже просто: «пичук!» – названия, которыми перекрестили они масти в своем обществе. По окончании игры спорили, как водится, довольно громко. Приезжий наш гость также спорил, но как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: «вы пошли», но «вы изволили пойти, я имел честь покрыть вашу двойку», и тому подобное. Чтобы еще более согласить в чем-нибудь своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне которой заметили две фиалки, положенные туда для запаха. Внимание приезжего особенно заняли помещики Манилов и Собакевич, о которых было упомянуто выше. Он тотчас же осве-



домился о них, отозвавши тут же несколько в сторону председателя и почтмейстера. Несколько вопросов, им сделанных, показали в госте не только любознательность, но и основательность; ибо прежде всего расспросил он, сколько у каждого из них душ крестьян и в каком положении находятся их имения, а потом уже осведомился, как имя и отчество. В немного времени он совершенно успел очаровать их. Помещик Манилов, еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар, и щуривший их всякий раз, когда смеялся, был от него без памяти. Он очень долго жал ему руку и просил убедительно сделать ему честь своим приездом в деревню, к которой, по его словам, было только пятнадцать верст от городской заставы. На что Чичиков с весьма вежливым наклоном головы и искренним пожатием руки отвечал, что он не только с большою охотою готов это исполнить, но даже почтет за священнейший долг. Собакевич тоже сказал несколько лаконически: «и ко мне прошу», шаркнувши ногою, обутою в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают уже выводиться богатыри.

На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к полицеймейстеру, где с трех часов после обеда засели в вист и играли до двух часов ночи. Там, между прочим, он познакомился с помещиком Ноздревым, человеком лет тридцати, разбитным малым, который ему после трех-четырех слов начал говорить ты. С полицеймейстером и прокурором Ноздрев тоже был на ты и обращался по-дружески; но когда сели играть в большую игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякою картою, с которой он ходил. На другой день Чичиков провел вечер у председателя палаты, который принимал гостей своих в халате, несколько замасленном, и в том числе двух каких-то дам. Потом был на вечере у вице-губернатора, на большом обеде у откупщика, на небольшом обеде у прокурора, который, впрочем, стоил большого, на закуске после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила обеда. Словом, ни одного часу не приходилось ему оставаться дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть. Приезжий во всем как-то умел найтись и показал в себе опытного светского человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, – он показал, что ему неизвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о билиартной игре – и в билиартной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках – и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником и надсмотрщиком. – Но замечательно, что он всё это умел облекать какою-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор, что он дельный человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты, что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер, что он почтенный и любезный человек; жена полицеймейстера, что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавши довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легши на кровать возле худошавой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у полицеймейстера обедал, и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!» На что супруга отвечала: «Гм!» и толкнула его ногою.

Такое мнение, весьма лестное для гостя, составилось о нем в городе, и оно держалось до тех пор, покамест одно странное свойство гостя и предприятие, или, как говорят в провинциях, пассаж, о котором читатель скоро узнает, не привело в совершенное недоумение почти весь город.

## Глава II

Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам и таким образом проводя, как говорится, очень приятно время. Наконец он решился перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. — Может быть, к сему побудила его другая, более существенная причина, дело более сурьезное, близшее к сердцу... Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее по мере приближения к концу, венчающему дело. Кучеру Селифану отдано было приказание рано поутру заложить лошадей в известную бричку; Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом. Для читателя будет не лишним познакомиться с сими двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не так заметные, и то, что называют, второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены и разве кое-где касаются и легко зацепляют их, — но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем, и с этой стороны, несмотря на то, что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец. Это займет, впрочем, не много времени и места, потому что не много нужно прибавить к тому, что уже читатель знает, то есть что Петрушка ходил в несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча и имел, по обычаю людей своего звания, крупный нос и губы. Характера он был больше молчаливого, чем разговорчивого; имел даже благородное побуждение к просвещению, т. е. чтению книг, содержанием которых не затруднялся: ему было совершенно всё равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, — он всё читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз чорт знает что и значит. Это чтение совершалось более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке, сделавшемся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка. Кроме страсти к чтению, он имел еще два обыкновения, составлявшие две другие его характерические черты: спать не раздеваясь, так, как есть, в том же сюртуке, и носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха, отзывавшийся несколько жилым покоем, так что достаточно было ему только пристроить где-нибудь свою кровать, хоть даже в необитаемой дотоле комнате, да перетащить туда шинель и пожитки, и уже казалось, что в этой комнате лет десять жили люди. Чичиков, будучи человек весьма щекотливый и даже в некоторых случаях привередливый, потянувши к себе воздух на свежий нос поутру, только помарщивался да встряхивал головою, приговаривая: «ты, брат, чорт тебя знает, потеешь, что ли. Сходил бы ты хоть в баню». На что Петрушка ничего не отвечал и старался тут же заняться каким-нибудь делом: или подходил с щеткой к висевшему барскому фраку, или просто прибирал что-нибудь. Что думал он в то время, когда молчал, — может быть, он говорил про себя: «И ты, однако ж, хорош; не надоело тебе сорок раз повторять одно и то же», — бог ведает, трудно знать, что думает дворовый крепостной человек в то время, когда барин ему дает наставление. Итак, вот что на первый раз можно сказать о Петрушке. Кучер Селифан был совершенно другой человек... Но автор весьма сожалеет, занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за своего героя, который только коллежский советник. Надворные советники, может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобрались уже к чином генеральским, те, бог весть, может быть, даже бросят один из тех презрительных взглядов, которые бросаются гордо человеком на всё, что

ни пресмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пройдут убийственным для автора невниманием. Но как ни прискорбно то и другое, а всё, однако ж, нужно возвратиться к герою. Итак, отдавши нужные приказания еще с вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрой губкой, что делалось только по воскресным дням, а в тот день случись воскресенье, выбрившись таким образом, что щеки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска, надевши фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою, и сел в бричку. С громом выехала бричка из-под ворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу, несколько мальчишек в замаранных рубашках протянули руки, приговаривая: «барин, подай сиротинке!» Кучер, заметивши, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлынул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдаль узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муке, будет скоро конец; и, еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся наконец по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать по нашему обычаю чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикой вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по шнурку деревни, постройкою похожие на старые сложенные дрова, покрытые серыми крышами с резными деревянными под ними украшениями в виде висячих, шитых узорами утиральников. Несколько мужиков по обыкновению зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон; из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные. Проехавши пятнадцатую версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня, но и шестнадцатая верста пролетела мимо, а деревни всё не было видно, и если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал: «Маниловка, может быть, а не Заманиловка?»

«Ну да, Маниловка».

«Маниловка! а как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть, так прямо направо».

«Направо?» отозвался кучер.



*На в опрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал:*

*– Маниловка, может быть, а не Заманиловка?*

*– Ну да, Маниловка.*

*– Маниловка! а как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть, так прямо направо*

«Направо», сказал мужик. «Это будет тебе дорога в Маниловку; а Заманиловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а Заманиловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом, каменный, в два этажа, господский дом, в котором, то есть, живет сам господин. Вот это тебе и есть Маниловка, а Заманиловки совсем нет никакой здесь, и не было».

Поехали отыскивать Маниловку. Проехавши две версты, встретили поворот на проселочную дорогу, но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали, а каменного дома в два этажа всё еще не было видно. Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за пятнадцать верст, то значит, что к ней есть верных тридцать. Деревня Мани-

ловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций; пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистныя жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью «храм уединенного размышления»; пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения, и частью по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту ж минуту принялся считать и насчитал более двух сот; нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени; везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колени в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва; бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались. Поодаль, в стороне, темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то, что голова продолблена была до самого мозга носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того как бричкаблизилась к крыльцу, глаза его делались веселее и улыбка раздвигалась более и более.

«Павел Иванович!» вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички. «Насилу вы таки нас вспомнили!»

Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжение которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор должен признаться, что подобное предприятие очень трудно гораздо легче изображать характеры большого размера: там просто бросай краски со всей руки на полотно, черные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ, — и портрет готов; но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем, как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей, — эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд.



*«Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек».*

Один бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то, ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то, заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: какой приятный и добрый человек! В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: чорт знает, что такое! и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься

задирающего его предмета. У всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать; четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена; пятый, с желанием более ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтись на гулянье с флигель-адъютантом, напоказ своим приятелям, знакомым и даже незнакомым; шестой уже одарен такою рукою, которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков, – словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало и большею частью размышлял и думал, но о чем он думал, тоже разве богу было известно. – Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою. Когда приказчик говорил: «хорошо бы, барин то и то сделать», «да, недурно», отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером: «да, именно недурно», повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил «Барин, позволь отлучиться на работу, подать заработать» «ступай», говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. – При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года. В доме его чего-нибудь вечно не доставало: в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее не достало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». Вечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями, с перламутровым щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги. Жена его... впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то, что минуло более восьми лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». – Само собою разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко дню рождения приготавлиемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку. И весьма часто, сидя на диване, вдруг, совершенно неизвестно из каких причин, один оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были то, что говорится счастливы. Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и бестолку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает всё остальное время? Но всё это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три глав-

ные предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, необходимый для счастья семейственной жизни, фортепьяно, для доставления приятных минут супругу, и, наконец, собственно хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, особенно в нынешнее время; всё это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепьяно, потом французский язык, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, т. е. вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уже фортепьяно. Разные бывают методы. Не мешает сделать еще замечание, что Манилова... но признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить, да притом мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед.

«Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после», говорил Чичиков.

«Нет, Павел Иванович, нет, вы гость», говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь.

«Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите», говорил Чичиков.

«Нет уж извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю».

«Почему ж образованному?.. Пожалуйста, проходите».

«Ну, да уж извольте проходить вы».

«Да отчего ж?»

«Ну, да уж оттого!» сказал с приятною улыбкою Манилов.

Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга.

«Позвольте мне вам представить жену мою», сказал Манилов. «Душенька, Павел Иванович!»

Чичиков, точно, увидел даму, которую он совершенно было не приметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была недурна, одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета, тонкая небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела; Чичиков не без удовольствия подошел к ее ручке. Манилова проговорила, несколько даже картавя, что он очень обрадовал их своим приездом и что муж ее, не проходило дня, чтобы не вспоминал о нем.

«Да», примолвил Манилов: «уж она бывало, всё спрашивает меня: «Да что же твой приятель не едет?» «Погоди, душенька, приедет». А вот вы наконец и удостоили нас своим посещением. Уж такое, право, доставили наслаждение, майский день, именины сердца...»

Чичиков, услышавши, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного.





– Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите, – говорил Чичиков.

– Нет уж извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю. – Почему ж образованному?.. Пожалуйста, проходите.

– Ну да уж извольте проходить вы.

«Вы всё имеете», прервал Манилов с тою же приятною улыбкою: «всё имеете, даже еще более».

«Как вам показался наш город?» примолвила Манилова. «Приятно ли провели там время?»

«Очень хороший город, прекрасный город», отвечал Чичиков: «и время провел очень приятно: общество самое обходительное».

«А как вы нашли нашего губернатора?» сказала Манилова.

«Не правда ли, что предпочтеннейший и прелюбезнейший человек?» прибавил Манилов.

«Совершенная правда», сказал Чичиков: «препочтеннейший человек. И как он вошел в свою должность, как понимает ее! Нужно желать побольше таких людей».

«Как он может этак, знаете, принять всякого, наблюсти деликатес в своих поступках», присовокупил Манилов с улыбкою и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем.

«Очень обходительный и приятный человек», продолжал Чичиков: «и какой искусник! я даже никак не мог предполагать этого. Как хорошо вышивает разные домашние узоры. Он мне показывал своей работы кошелек редкая дама может так искусно вышить».

«А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек?» сказал Манилов, опять несколько прищутив глаза.

«Очень, очень достойный человек», отвечал Чичиков.

«Ну позвольте, а как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?»

«Чрезвычайно приятный, и какой умный, какой начитанный человек! Мы у него проиграли в вист вместе с прокурором и председателем палаты до самых поздних петухов. Очень, очень достойный человек!»

«Ну, а какого вы мнения о жене полицеймейстера?» прибавила Манилова. «Не правда ли, прелюбезная женщина?»

«О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю», отвечал Чичиков.

Засим не пропустили председателя палаты, почтмейстера и таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми.

«Вы всегда в деревне проводите время?» сделал наконец, в свою очередь, вопрос Чичиков.

«Больше в деревне», отвечал Манилов. «Иногда, впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь всё время жить взаперти».

«Правда, правда», сказал Чичиков.

«Конечно», продолжал Манилов: «другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое...» Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заметивши, что несколько зарепортовался, ковырнул только рукою в воздухе и продолжал: «тогда, конечно, деревня и уединение имели бы очень много приятностей. Но решительно нет никого... Вот только иногда почитаешь «Сын Отечества»».

Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивши, что ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу...

«Но знаете ли», прибавил Манилов; «всё, если нет друга, с которым бы можно поделиться...»

«О, это справедливо, это совершенно справедливо!» прервал Чичиков; «что? все сокровища тогда в мире! Не имей денег, имей хороших людей для обращения, сказал один мудрец».

«И знаете, Павел Иванович», сказал Манилов, явя в лице своем выражение не только сладкое, но даже приторное, подобно той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ею обрадовать пациента: «тогда чувствуешь какое-то, в некотором роде, духовное наслаждение... Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастье, можно сказать образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным вашим разговором...»

«Помилуйте, что ж за приятный разговор?.. Ничтожный человек, и больше ничего», отвечал Чичиков.

«О! Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным: я бы с радостью отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы!..»

«Напротив, я бы почел с своей стороны за величайшее...»

Неизвестно, до чего бы дошло взаимное излияние чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово.

«Прошу покорнейше», сказал Манилов.

«Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах; у нас просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца. Покорнейше прошу».

Тут они еще несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и наконец Чичиков вошел боком в столовую.

В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают уже детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкою. Хозяйка села за свою суповую чашку; гость был посажен между хозяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею салфетки.

«Какие миленькие дети», сказал Чичиков, посмотрев на них: «а который год?»

«Старшему осьмой, а меньшему вчера только минуло шесть», сказала Манилова.

«Фемистоклос!» сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался высвободить свой подбородок, завязанный лакеем в салфетку. Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому, неизвестно почему, Манилов дал окончание на юс, но постарался тот же час привести лицо в обыкновенное положение.

«Фемистоклос, скажи мне, какой лучший город во Франции?»

Здесь учитель обратил всё внимание на Фемистоклоса и, казалось, хотел ему вскочить в глаза, но наконец совершенно успокоился и кивнул головою, когда Фемистоклос сказал: «Париж».

«А у нас какой лучший город?» спросил опять Манилов.

Учитель опять настроил внимание.

«Петербург», отвечал Фемистоклос.

«А еще какой?»

«Москва», отвечал Фемистоклос.

«Умница, душенька!» сказал на это Чичиков. «Скажите, однако ж...» продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Маниловым. «Я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности».

«О, вы еще не знаете его!» отвечал Манилов: «У него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшой, Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают; побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклос!» продолжал он, снова обратясь к нему: «хочешь быть посланником?»

«Хочу», отвечал Фемистоклос, жуя хлеб и болтая головой направо и налево.

В это время стоявший позади лакей утер посланнику нос и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп препорядочная посторонняя капля. Разговор начался за столом об удовольствии спокойной жизни, прерываемый замечаниями хозяйки о городском театре и об актерах. Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих и, как только замечал, что они были готовы усмехнуться, в же минуту открывал рот и смеялся с усердием. Вероятно, он был человек признательный и хотел заплатить этим хозяину за хорошее обращение. Один раз, впрочем, лицо его приняло суровый вид, и он строго застучал вилок по столу, устремив глаза на сидевших насупотив его детей. Это было у места, потому что Фемистоклос укусил за ухо Алкида, и Алкид, зажмурив глаза и открыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом, но, почувствовав, что за это легко можно было лишиться блюда, привел рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром.

Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову с словами: «Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли». На что Чичиков отвечал всякий раз: «Покорнейше благодарю, я сыт, приятный разговор лучше всякого блюда».

Уже встали из-за стола. Манилов был доволен чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился таким образом препроводить его в гостиную, как вдруг гость объявил с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить об одном очень нужном деле.

«В таком случае позвольте мне вас попросить в мой кабинет», сказал Манилов и повел в небольшую комнату, обращенную окном на синевший лес. «Вот мой уголок», сказал Манилов.

«Приятная комнатка», сказал Чичиков, окинувши ее глазами. Комната была, точно, не без приятности стены были выкрашены какой-то голубенькой краской в роде серенькой; четыре стула, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенною закладкою, о которой мы уже имели случаи упомянуть; несколько исписанных бумаг; но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах и в табашнице, и наконец насыпан был просто кучею на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени.

«Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах», сказал Манилов. «Здесь вам будет попокойнее».

«Позвольте, я сяду на стуле».

«Позвольте вам этого не позволить», сказал Манилов с улыбкою. «Это кресло у меня уж ассигновано для гостя: ради или не ради, но должны сесть».

Чичиков сел.

«Позвольте мне вас попотчевать трубочкою».

«Нет, не курю», отвечал Чичиков ласково и как бы с видом сожаления.

«Отчего?» сказал Манилов тоже ласково и с видом сожаления.

«Не сделал привычки, боюсь; говорят, трубка сушит».

«Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать табак. В нашем полку был поручик, прекраснейший и образованнейший человек, который не выпускал изо рта трубки не только за столом, но даже, с позволения сказать, во всех прочих местах. И вот ему теперь уже сорок с лишком лет, но благодаря бога до сих пор так здоров, как нельзя лучше».

Чичиков заметил, что это, точно, случается и что в натуре находится много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума.

«Но позвольте прежде одну просьбу...» проговорил он голосом, в котором отдалось какое-то странное, или почти странное, выражение, и вслед за тем, неизвестно отчего, оглянулся назад. Манилов тоже, неизвестно отчего, оглянулся назад. «Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку?»

«Да уж давно; а лучше сказать – не припомню».

«Как с того времени, много у вас умерло крестьян?»

«А не могу знать: об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человек, позови приказчика, он должен быть сегодня здесь».

Приказчик явился. Это был человек лет под сорок, бривший бороду, ходивший в сюртуке и, повидимому, проводивший очень покойную жизнь, потому что лицо его глядело какою-то пухлою полнотою, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видеть тотчас, что он совершил свое поприще, как совершают его все господские приказчики: был прежде просто грамотным мальчишкой в доме, потом женился на какой-нибудь Агашке-ключнице, барыниной фаворитке, сделался сам ключником, а там и приказчиком. А сделавшись приказчиком, поступал, разуме-

ется, как все приказчики: водился и кумился с теми, которые на деревне были побогаче, подбавлял на тягла победнее, проснувшись в девятом часу утра, поджидал самовара и пил чай.

«Послушай, любезный! сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?»

«Да как сколько? Многие умирали с тех пор», сказал приказчик и при этом икнул, заслонив рот слегка рукою наподобие щитка.

«Да, признаюсь, я сам так думал», подхватил Манилов: «именно очень многие умирали!» Тут он оборотился к Чичикову и прибавил еще: «точно, очень многие».

«А как, например, числом?» спросил Чичиков.

«Да, сколько числом?» подхватил Манилов.

«Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умирало, их никто не считал».



– Послушай, любезный! сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?

– Да как сколько? Многие умирали с тех пор, – сказал приказчик и при этом икнул, заслонив рот слегка рукою, наподобие щитка.

«Да, именно», сказал Манилов, обратясь к Чичикову: «я тоже предполагал, большая смертность; совсем неизвестно, сколько умерло».

«Ты, пожалуйста, их перечти», сказал Чичиков; «и сделай подробный реестрик всех поименно».

«Да, всех поименно», сказал Манилов.

Приказчик сказал: «слушаю!» и ушел.

«А для каких причин вам это нужно?» спросил по уходе приказчика Манилов.

Этот вопрос, казалось, затруднил гостя, в лице его показалось какое-то напряженное выражение, от которого он даже покраснел, напряжение что-то выразить, не совсем покорное словам. И в самом деле, Манилов наконец услышал такие странные и необыкновенные вещи, каких еще никогда не слыхали человеческие уши.

«Вы спрашиваете, для каких причин? причины вот какие: я хотел бы купить крестьян...» сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речи.



– Вы спрашиваете, для каких причин? причины вот какие: я хотел бы купить крестьян... – сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речи.

«Но позвольте спросить вас», сказал Манилов: «как желаете вы купить крестьян, с землею, или просто на вывод, то есть без земли?»

«Нет, я не то, чтобы совершенно крестьян», сказал Чичиков: «я желаю иметь мертвых...»

«Как-с? извините... я несколько туг на ухо, мне послышалось престранное слово...»

«Я полагаю приобрести мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии, как живые», сказал Чичиков.

Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол, и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжение нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижими, вперя друг в друга глаза, как те портреты, кото-

рые вешались в старину один против другого по обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли он; но ничего не было видно такого; напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного; потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел на него пристально; но глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегают в глазах сумасшедшего человека, всё было прилично и в порядке. Как ни придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не мог придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкою струею.

«Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, не живых в действительности, но живых относительно законной формы, передать, уступить, или как вам заблагорассудится лучше?»

Но Манилов так сконфузился и смешался, что только смотрел на него.

«Мне кажется, вы затрудняетесь?..» заметил Чичиков.

«Я?.. нет, я не то», сказал Манилов: «но я не могу достичь... извините... я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении; не имею высокого искусства выражаться... Может быть, здесь... в этом, вами сейчас выраженном изъяснении... скрыто другое... Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога?»

«Нет», подхватил Чичиков: «нет, я, разумею, предмет таков, как есть, то есть те души, которые точно уже умерли».

Манилов совершенно растерялся. Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать, предложить вопрос, а какой вопрос – чорт его знает. Кончил он наконец тем, что выпустил опять дым, но только уже не ртом, а через носовые ноздри.

«Итак, если нет препятствий, то с богом, можно бы приступить к совершению купчей крепости», сказал Чичиков.

«Как, на мертвые души купчую?»

«А, нет!» сказал Чичиков. «Мы напишем, что они живые, так, как стоят действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе, но уж извините: обязанность для меня дело священное, закон – я немею пред законом».

Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он все-таки никак не вник и вместо ответа принялся насасывать свой чубук так сильно, что тот начал наконец хрипеть, как фагот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мнение относительно такого неслыханного обстоятельства; но чубук хрипел и больше ничего.

«Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?»

«О! помилуйте, ничуть. Я не насчет того говорю, чтобы имел какое-нибудь, то есть критическое предсуждение о вас. Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие, или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция, так не будет ли эта негоция не соответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России».

Здесь Манилов, сделавши некоторое движение головою, посмотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и в сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головоломного дела.

Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие, или негоция, никак не будет не соответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, а чрез минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоду, ибо получит законные пошлины.

«Так вы полагаете?..»

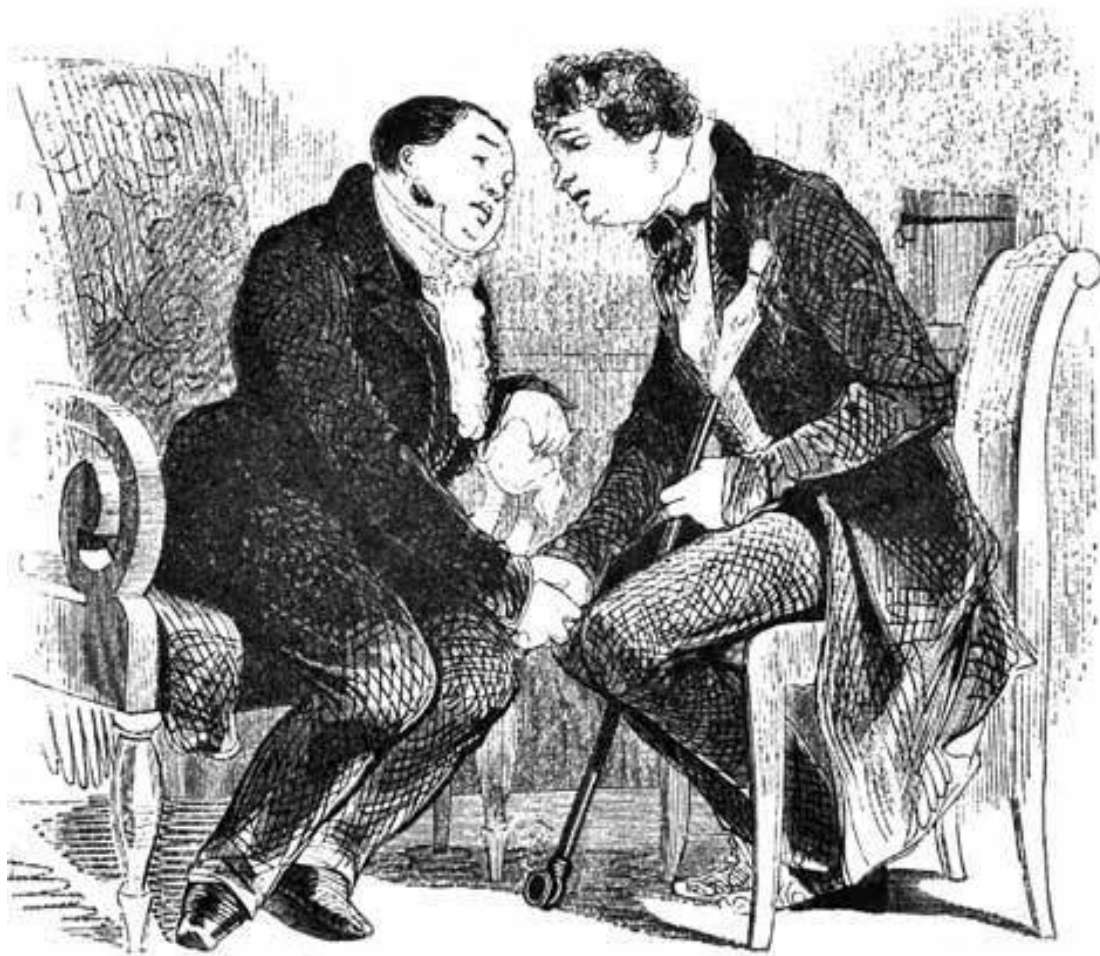
«Я полагаю, что это будет хорошо».



«А если хорошо, это другое дело: я против этого ничего», сказал Манилов и совершенно успокоился.

«Теперь остается условиться в цене...»

«Как в цене?», сказал опять Манилов и остановился. «Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло этакое, так сказать, фантастическое желание, то, с своей стороны, я предаю их вам безынтересно и купчую беру на себя».



*– Как в цене? – сказал опять Манилов и остановился. – Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло этакое, так сказать, фантастическое желание, то с своей стороны я предаю их вам безынтересно и купчую беру на себя.*

Великий упрек был бы историку предлагаемых событий, если бы он упустил сказать, что удовольствие одолело гостя после таких слов, произнесенных Маниловым. Как он ни был степенен и рассудителен, но тут чуть не произвел даже скачок по образцу козла, что, как известно, производится только в самых сильных порывах радости. Он повернулся так сильно в креслах, что лопнула шерстяная материя, обтягивавшая подушку; сам Манилов посмотрел на него в некотором недоумении. Побужденный признательностью, он наговорил тут же столько благодарностей, что тот смеялся, весь покраснел, производил головою отрицательный жест и

наконец уже выразился, что это сущее ничего, что он, точно, хотел бы доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души, а умершие души в некотором роде совершенная дрянь.

«Очень не дрянь», сказал Чичиков, пожав ему руку. Здесь был испущен очень глубокий вздох. Казалось, он был настроен к сердечным излияниям; не без чувства и выражения произнес он наконец следующие слова:

«Если б вы знали, какую услугу оказали сей, по-видимому, дрянью человеку без племени и роду! Да и действительно, чего не потерпел я? как барка какая-нибудь среди свирепых волн... Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной и сироте горемыке!.. «Тут даже он отер платком выкатившуюся слезу.

Манилов был совершенно растроган. Оба приятеля долго жали друг другу руку и долго смотрели молча один другому в глаза, в которых видны были наворачнувшиеся слезы. Манилов никак не хотел выпустить руки нашего героя и продолжал жать ее так горячо, что тот уже не знал, как её выручить. Наконец, выдернув ее потихоньку, он сказал, что не худо бы купчую совершить поскорее и хорошо бы, если бы он сам понаведалься в город. Потом взял шляпу и стал откланиваться.

«Как? вы уж хотите ехать?» сказал Манилов, вдруг очнувшись и почти испугавшись.

В это время вошла в кабинет Манилова.

«Лизанька», сказал Манилов с несколько жалостливым видом: «Павел Иванович оставляет нас!»

«Потому что мы надоели Павлу Ивановичу», отвечала Манилова.

«Сударыня! здесь», сказал Чичиков, «здесь, вот где», тут он положил руку на сердце: «да, здесь пребудет приятность времени, проведенного с вами! И, поверьте, не было бы для меня большего блаженства, как жить с вами, если не в одном доме, то, по крайней мере, в самом ближайшем соседстве».

«А знаете, Павел Иванович», сказал Манилов, которому очень понравилась такая мысль: «как было бы в самом деле хорошо, если бы жить этак вместе, под одною кровлею, или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться!..»

«О! это была бы райская жизнь!» сказал Чичиков, вздохнувши. «Прощайте, сударыня!» продолжал он, подходя к ручке Маниловой. «Прощайте, почтеннейший друг! Не позабудьте просьбы!»

«О, будьте уверены!» отвечал Манилов. «Я с вами расстаюсь не более как на два дни». Все вышли в столовую.

«Прощайте, миленькие малютки!» сказал Чичиков, увидевши Алкида и Фемистоклюса, которые занимались каким-то деревянным гусаром, у которого уже не было ни руки, ни носа. «Прощайте, мои крошки. Вы извините меня, что я не привез вам гостинца, потому что, признаюсь, не знал даже, живете ли вы на свете; но теперь, как приеду, непременно привезу. Тебе привезу саблю; хочешь саблю?»

«Хочу», отвечал Фемистоклюс.

«А тебе барабан; не правда ли, тебе барабан?» продолжал он, наклонившись к Алкиду.

«Парапан», отвечал шепотом и потупив голову Алкид.

«Хорошо, я тебе привезу барабан. Такой славный барабан!..

Этак всё будет: туррр... ру... тра-та-та, та-та-та... Прощай, душенька! Прощай!» Тут поцеловал он его в голову и обратился к Манилову и его супруге с небольшим смехом, с каким обыкновенно обращаются к родителям, давая им знать о невинности желаний их детей.

«Право, оставайтесь, Павел Иванович!» сказал Манилов, когда уже все вышли на крыльцо. «Посмотрите, какие тучи».

«Это маленькие тучки», отвечал Чичиков.

«Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу?»

«Об этом хочу спросить вас».

«Позвольте, я сейчас расскажу вашему кучеру». Тут Манилов с такою же любезностью рассказал дело кучеру, и сказал ему даже один раз: вы.

Кучер, услышав, что нужно пропустить два поворота и поворотить на третий, сказал: «Потрафим, ваше благородие», и Чичиков уехал, сопровождаемый долго поклонами и маханиями платка приподымавшихся на цыпочках хозяев.

Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже совершенно стала не видна, он всё еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромный дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. — Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество, в хороших каретах, где обворожают всех приятностью обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами, и далее наконец бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдруг все его мечтания. Мысль о ней как-то особенно не варилась в его голове: как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе, и всё время сидел он и курил трубку, что тянулось до самого ужина.

### Глава III

А Чичиков в довольном расположении духа сидел в своей бричке, катившейся давно по столбовой дороге. Из предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и склонностей, а потому не диво, что он скоро погрузился весь в него и телом и душою. Предположения, сметы и соображения, блуждавшие по лицу его, видно, были очень приятны, ибо ежеминутно оставляли после себя следы довольной усмешки. Занятый ими, он не обращал никакого внимания на то, как его кучер, довольный приемом дворовых людей Манилова, делал весьма дельные замечания чубарому пристяжному коню, запряженному с правой стороны. Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везет, тогда как коренной гнедой и пристяжной каурой масти, называвшийся Заседателем, потому что был приобретен от какого-то заседателя, трудился от всего сердца, так что даже в глазах их было заметно получаемое ими от того удовольствие. «Хитри, хитри! вот я тебя перехитрю!» говорил Селифан, приподнявшись и хлыстнув кнутом ленивца. «Ты знай свое дело, панталонник ты немецкой! Гнедой почтенный конь, он исполняет свой долг, я ему дам с охотою лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и Заседатель – тож хороший конь... Ну, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли говорят! я тебя, невежа, не стану дурному учить! Ишь, куда ползет!» Здесь он опять хлыстнул его кнутом, примолвив: «У, варвар! Бонапарт ты проклятой!.. «Потом прикрикнул на всех: «Эй вы, любезные!» и стегнул по всем по трем уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому: «Ты думаешь, что ты скроешь свое поведение. Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение. Вот у помещика, что мы были, хорошие люди. Я с удовольствием поговорю, коли хороший человек; с человеком хорошим мы всегда свои друзья, тонкие приятели: выпить ли чаю или закусить – с охотою, коли хороший человек. Хорошему человеку всякой отдаст почтение. Вот барина нашего всякой уважает, потому что он, слышь ты, сполнял службу государскую, он сколеской советник...»

Так рассуждая, Селифан забрался наконец в самые отдаленные отвлеченности. Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему; но мысли его так были заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя: все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра. Сначала, принявши косое направление, хлестал он в одну сторону кузова кибитки, потом в другую, потом, изменивши образ нападения и сделавшись совершенно прямым, барабанил прямо вверх его кузова; брызги наконец стали долетать ему в лицо. Это заставило его задернуться кожаными занавесями с двумя круглыми окошечками, определенными на рассматривание дорожных видов, и приказать Селифану ехать скорее. Селифан, прерванный тоже на самой середине речи, смекнул, что, точно, не нужно мешкать, вытащил тут же из-под козел какую-то дрянь из серого сукна, надел ее в рукава, схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей. Но Селифан никак не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорогу, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он мимо. Так как русской человек в решительные минуты найдет, что сделать не вдаваясь в дальние рассуждения то, поворачивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: «Эй вы, друзья почтенные!» и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога.

Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжело тащить бричку. Чичиков уже начинал

сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. По расчету его, давно бы пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но темнота была такая, хоть глаз выколи.

«Селифан!» сказал он наконец, высунувшись из брички.

«Что, барин?» отвечал Селифан.

«Погляди-ка, не видно ли деревни?»

«Нет, барин, нигде не видно!» После чего Селифан, помахивая кнутом, затянул песню не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда всё вошло: все ободрительные и понудительные крики, которыми потчевают лошадей по всей России от одного конца до другого; прилагательные всех родов и качеств без дальнейшего разбора, как что первое попало на язык. Таким образом, дошло до того, что он начал называть их наконец секретарями.

Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками; это дало ему почувствовать, что они своротили с дороги и, вероятно, тащились по взбороненному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, но не говорил ни слова.

«Что, мошенник, по какой ты дороге едешь?» сказал Чичиков.

«Да что ж, барин, делать, время-то такое; кнута не видишь, такая потьма!» Сказавши это, он так покосил бричку, что Чичиков принужден был держаться обеими руками. Тут только заметил он, что Селифан подгулял.

«Держи, держи, опрокинешь!» кричал он ему.

«Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул», говорил Селифан. «Это нехорошо опрокинуть, я уж сам знаю; уж я никак не опрокину». Засим начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал, поворачивал и наконец выворотил ее совершенно на бок. Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь. Селифан лошадей, однако ж, остановил; впрочем, они остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезши с козел, он стал перед бричкою, подперся в бока обеими руками, в то время как барин барахтался в грязи, сиясь оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: «Вишь ты, и перекинулась!»

«Ты пьян, как сапожник!» сказал Чичиков.



*Слезши с козел, он стал перед бричкою, подперся в бока обеими руками, в то время как барин барахтался в грязи, силясь оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: «Вишь ты, и перекинулась!»*

«Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян! Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, в том нет худого; и закусили вместе. Закуска не обидное дело; с хорошим человеком можно закусить».

«А что я тебе сказал последний раз, когда ты напился? а? забыл?» произнес Чичиков.

«Нет, ваше благородие, как можно, чтобы я позабыл. Я уже дело свое знаю. Я знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что...»

«Вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком».

«Как милости вашей будет завгодно», отвечал на все согласный Селифан: «коли высечь, то и высечь; я ничуть не прочь от того. Почему ж не посечь, коли за дело? на то воля господская. Оно нужно посечь потому, что мужик балуется, порядок нужно наблюдать. Коли за дело, то и посеки; почему ж не посечь?»

На такое рассуждение барин совершенно не нашелся что отвечать. Но в это время, казалось, как будто сама судьба решила над ним сжалиться. Издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз, от этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает. Селифан, не видя ни зги, направил лошадей так прямо на деревню, что остановился тогда только, когда бричка ударилась оглоблями в забор и когда решительно уже некуда было ехать. Чичиков только заметил сквозь густое покрывало лившего дождя что-то похожее на крышу. Он послал Селифана отыскивать ворота, что, без сомнения, продолжалось бы долго, если бы на Руси не было вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. Свет мелькнул в одном окошке и достигнул туманною струею до забора, указавши нашим дорожные ворота. Селифан принялся стучать, и скоро, отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и барин со слугою услышали хриплый бабий голос: «Кто стучит? чего расходились?»

«Приезжие, матушка, пусти переночевать», произнес Чичиков.

«Вишь ты какой востроногой», сказала старуха: «приехал в какое время! Здесь тебе не постоялый двор, помещица живет».

«Что ж делать, матушка: видишь, с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи».

«Да, время темное, нехорошее время», прибавил Селифан.

«Молчи, дурак», сказал Чичиков.

«Да кто вы такой?» сказала старуха.

«Дворянин, матушка».

Слово дворянин заставило старуху как будто несколько подумать. «Погодите, я скажу барыне», произнесла она и минуты через две уже возвратилась с фонарем в руке. Ворота отперлись. Огонек мелькнул и в другом окне. Бричка, въехавши на двор, остановилась перед небольшим домиком, который за темнотою трудно было рассмотреть. Только одна половина его была озарена светом, исходившим из окон; видна была еще лужа перед домом, на которую прямо ударял тот же свет. Дождь стучал звучно по деревянной крыше и журчащими ручьями стекал в подставленную бочку. Между тем псы заливались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какое жалованье; другой отхватывал наскоро, как пономарь; промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно молодого щенка, и все это наконец повершал бас, может быть старик или просто наделенный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе, тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и всё, что ни есть, порывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувши небритый подбородок в галстук, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла. Уже по одному собачьему лаю, составленному из таких музыкантов, можно было предположить, что деревушка была порядочная; но промокший и озябший герой наш ни о чем не думал, как только о постели. Не успела бричка совершенно остановиться, как он уже соскочил на крыльцо, пошатнулся и чуть не упал. На крыльцо вышла опять какая-то женщина, помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она проводила его в комнату. Чичиков кинул вскользь два взгляда: комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то птицами; между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев, и за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок;

стенные часы с нарисованными цветами на циферблате... невмочь было ничего более заметить. Он чувствовал, что глаза его липли, как будто их кто-нибудь вымазал медом. Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов. В один мешочек отбирают всё целковики, в другой полтиннички, в третий четвертачки, хотя с виду и кажется, будто бы в комоду ничего нет, кроме белья, да ночных кофточек, да нитяных моточков, да распоротого салопы, имеющего потом обратиться в платье, если старое как-нибудь прогорит во время печения праздничных лепешек со всякими пряженцами или поизотрется само собою. Но не сгорит платье и не изотрется само собою; бережлива старушка, и салопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племяннице внучатной сестры вместе со всяким другим хламом.

Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом «Ничего, ничего», сказала хозяйка. «В какое это время вас бог принес! Сумятица и выюга такая, с дороги бы следовало поесть чего-нибудь, да пора-то ночная, приготовить нельзя».

Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался; шум очень походил на то, как бы все комната наполнилась змеями; но, взглянув вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и наконец, поднатужусь всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево.

Чичиков поблагодарил хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что, кроме постели, он ничего не требует, и полюбопытствовал только знать, в какие места заехал он и далеко ли отсюда пути к помещику Собакевичу, на что старуха сказала, что и не слыхивала такого имени и что такого помещика вовсе нет.

«По крайней мере, знаете Манилова?» сказал Чичиков.

«А кто таков Манилов?»

«Помещик, матушка».

«Нет, не слыхивала, нет такого помещика».

«Какие же есть?»

«Бобров, Свинын, Канапатьяев, Харпакин, Трепакин, Плешаков».

«Богатые люди или нет?»

«Нет, отец, богатых слишком нет. У кого двадцать душ, у кого тридцать, а таких, чтоб по сотне, таких нет».

Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь.

«Далеко ли по крайней мере до города?»

«А верст шестьдесят будет. Как жаль мне, что нечего вам покушать; не хотите ли, батюшка, выпить чаю?»

«Благодарю, матушка. Ничего не нужно, кроме постели».

«Правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване. Эй, Фетинья, принеси перину, подушки и простыню. Какое-то время наслал бог: гром такой – у меня всю ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой, да у тебя-то, как у борова, вся спина и бок в грязи! где так изволил засалиться?»

«Еще слава богу, что только засалился; нужно благодарить, что не отломал совсем боков».

«Святители, какие страсти! Да не нужно ли чем потереть спину?»

«Спасибо, спасибо Не беспокойтесь, а прикажите только вашей девке повысушить и вычистить мое платье».



«Слышишь, Фетинья!» сказала хозяйка, обратясь к женщине, выходявшей на крыльцо со свечою, которая успела уже притащить перину и, взбивши ее с обоих боков руками, напустила целый потоп перьев по всей комнате. «Ты возьми ихний-то кафтан вместе с исподним и прежде просуши их перед огнем, как дельвали покойнику барину, а после перетри и выколоти хорошенько».

«Слушаю, сударыня!» говорила Фетинья, постилая сверх перины простыню и кладя подушки.



— Ну, вот тебе постель готова, — сказала хозяйка. — Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал.

«Ну, вот тебе постель готова», сказала хозяйка. «Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки. Покойник мой без этого никак не засыпал».

Но гость отказался и от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тот же час поспешил раздеться, отдав Фетинье всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю, и Фетинья, пожелав также с своей стороны покойной ночи, утащила эти мокрые доспехи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фетинья, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивши стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту. Проснулся на другой день он уже довольно поздним утром. Солнце сквозь окно блистало ему прямо в глаза, и мухи, которые вчера спали спокойно на стенах и на потолке, все обратились к нему: одна села ему на губу, другая на ухо, третья норовила как бы усесться на самый глаз, ту же, которая имела неосторожность подсесть близко к носовой ноздре, он потянул впросонках в самый нос, что заставило его очень крепко чихнуть – обстоятельство, бывшее причиною его пробуждения. Окинувши взглядом комнату, он теперь заметил, что на картинах не всё были птицы: между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче. Часы опять испустили шипение и пробили десять; в дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту скрылось, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул с себя совершенно всё, выглянувшее лицо показалось ему как будто несколько знакомо. Он стал припоминать себе: кто бы это был, и наконец вспомнил, что это была хозяйка. Он надел рубаху; платье, уже высушенное и вычищенное, лежало подле него. Одевшись, подошел он к зеркалу и чихнул опять так громко, что подошедший в это время к окну индейский петух, окно же было очень близко от земли, заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно «желаю здравствовать», на что Чичиков сказал ему дурака. Подошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды: окно глядело едва ли не в курятник; по крайней мере, находившийся перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживал петух мерным шагом, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком. Этот небольшой дворик, или курятник, преграждал дощатый забор, за которым тянулись просторные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косвенными тучами переносились с одного места на другое. Для этой же самой причины водружено было несколько чучел на длинных шестах с растопыренными руками; на одном из них надет был чепец самой хозяйки. За огородами следовали крестьянские избы, которые хотя были выстроены врассыпную и не заключены в правильные улицы, но, по замечанию, сделанному Чичиковым, показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы как следует: изветшавший тес на крышах везде был заменен новым; ворота нигде не покосились; а в обращенных к нему крестьянских крытых сараях заметил он где стоявшую запасную, почти новую телегу, а где и две. «Да у ней деревушка не маленька», сказал он и положил тут же разговориться и познакомиться с хозяйкой покороче. Он заглянул в щелочку двери, из которой она было высунула голову, и, увидев ее, сидящую за чайным столиком, вошел к ней с веселым и ласковым видом.

«Здравствуйте, батюшка. Каково почивали?» сказала хозяйка, приподнимаясь с места. Она была одета лучше, нежели вчера, – в темном платье, и уже не в спальном чепце, но на шее все-таки было что-то навязано.

«Хорошо, хорошо», говорил Чичиков, садясь в кресла. «Вы как, матушка?»

«Плохо, отец мой».

«Как так?»

«Бессонница. Всё поясница болит, и нога, что повыше косточки, так вот и ломит».

«Пройдет, пройдет, матушка. На это нечего глядеть».

«Дай бог, чтобы прошло. Я то мазала свиным салом и скипидаром тоже смачивала. А с чем прихлебнете чайку? Во фляжке фруктовая».

«Недурно, матушка, хлебом и фруктовой».

Читатель, я думаю, уже заметил, что Чичиков, несмотря на ласковый вид, говорил, однако же, с большею свободою, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот; словом, хоть восходи до миллиона, всё найдутся оттенки. Положим, например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных, — да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо его? просто бери кисть да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами подмышкой, что мочи нет. В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку! «Да это не Иван Петрович», говоришь, глядя на него. «Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький и худенький, тот говорит громко, басит и никогда не смеется, а этот чорт знает что: пищит птицей и всё смеется». Подходишь ближе, глядишь, точно Иван Петрович! «Эхе, хе!» думаешь себе... Но, однако ж, обратимся к действующим лицам. Чичиков, как уж мы видели, решился вовсе не церемониться и потому, взявши в руки чашку с чаем и вливши туда фруктовой, повел такие речи:

«У вас, матушка, хорошая деревенька. Сколько в ней душ?»

«Душ-то в ней, отец мой, без малого 80-т», сказала хозяйка; «да беда, времена плохи, вот и прошлый год был такой неурожай, что боже храни».

«Однако ж мужички на вид дюжие, избенки крепкие. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся... приехал в ночное время...»

«Коробочка, коллежская секретарша».

«Покорнейше благодарю. А имя и отчество?»

«Настасья Петровна».

«Настасья Петровна? хорошее имя Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна».

«А ваше имя как?» спросила помещица. «Ведь вы, я чай, заседатель?»

«Нет, матушка», отвечал Чичиков усмехнувшись; «чай не заседатель, а так ездим по своим делишкам».

«А, так вы покупатель! Как же жаль, право, что я продала мед купцам так дешево, а вот ты бы, отец мой, у меня, верно, его купил».

«А вот меду и не купил бы».

«Что ж другое? Разве пеньку? Да вить и пеньки у меня теперь маловато: полпуда всего».

«Нет, матушка, другого рода товарец: скажите, у вас умирали крестьяне?»

«Ох, батюшка, осьмнадцать человек!» сказала старуха вздохнувши. «И умер такой всё славный народ, всё работники. После того, правда, народилось, да что в них, всё такая мелюзга, а заседатель подъехал, подать, говорит, уплачивать с души. Народ мертвый, а плати как за живого. На прошлой недели сгорел у меня кузнец, такой искусный кузнец и слесарное мастерство знал».

«Разве у вас был пожар, матушка?»

«Бог поберег от такой беды, пожар бы еще хуже; сам сгорел, отец мой. Внутри у него как-то загорелось, чересчур выпил; только синий огонек пошел от него, весь истлел, истлел и почернел, как уголь; а такой был преискусный кузнец! и теперь мне выехать не на чем, некому лошадей подковать».

«На всё воля божья, матушка!» сказал Чичиков вздохнувши: «Против мудрости божией ничего нельзя сказать... Уступите-ка их мне, Настасья Петровна?»

«Кого, батюшка?»

«Да вот этих-то всех, что умерли».

«Да как же уступить их?»

«Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги».

«Да как же, я, право, в толк-то не возьму? Нешто хочешь ты их откапывать из земли?»



– На все воля Божья, матушка! – сказал Чичиков, вздохнувши, – против мудрости Божией ничего нельзя сказать... Уступите-ка их мне, Настасья Петровна?

– Кого, батюшка?

– Да вот этих-то всех, что умерли.

– Да как же уступить их?

– Да так просто. Или, пожалуйста, продайте. Я вам за них дам деньги.

Чичиков увидел, что старухахватила далеко и что необходимо ей нужно растолковать, в чем дело. В немногих словах объяснил он ей, что перевод или покупка будет значиться только на бумаге и души будут прописаны как бы живые.

«Да на что ж они тебе?» сказала старуха, выпучив на него глаза.

«Это уж мое дело».

«Да ведь они ж мертвые».

«Да кто же говорит, что они живые? Потому-то и в убыток вам, что мертвые: вы за них платите, а теперь я вас избавлю от хлопот и платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще сверх того дам вам пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?»

«Право, не знаю», произнесла хозяйка с расстановкой. «Ведь я мертвых никогда еще не продавала».

«Еще бы! Это бы скорей походило на диво, если бы вы их кому-нибудь продали. Или вы думаете, что в них есть в самом деле какой-нибудь прок?»

«Нет, этого-то я не думаю. Что ж в них за прок, проку никакого нет. Меня только то и затрудняет, что они уже мертвые».

«Ну, баба, кажется, крепколюбая!» подумал про себя Чичиков. «Послушайте, матушка. Да вы рассудите только хорошенько: ведь вы разоряетесь, платите за него подать как за живого...»

«Ох, отец мой, и не говори об этом!» подхватила помещица «Еще третью неделю внесла больше полтораэта, да заседателя подмаслила».

«Ну, видите, матушка. А теперь примите только в соображение то, что заседателя вам подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за них, я, а не вы; я принимаю на себя все повинности. Я совершу даже крепость на свои деньги, понимаете ли вы это?»

Старуха задумалась. Она видела, что дело, точно, как будто выгодно, да только уж слишком новое и небывалое; а потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не надул ее этот покупатель; приехал же бог знает откуда, да еще и в ночное время.

«Так что ж, матушка, по рукам, что ли?» говорил Чичиков.

«Право, отец мой, никогда еще не случилось мне продавать покойников. – Живых-то я уступила, вот и третьего года протопопу двух девок по сту рублей каждую, и очень благодарил, такие вышли славные работницы: сами салфетки ткнут».

«Ну, да не о живых дело; бог с ними. Я спрашиваю мертвых».

«Право, я боюсь на первых-то порах, чтобы как-нибудь не понести убытку. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь, а они того... они больше как-нибудь стоят».

«Послушайте, матушка... эх какие вы! что ж они могут стоять? Рассмотрите: ведь это прах. Понимаете ли? это просто прах. Вы возьмите всякую негодную, последнюю вещь, например даже простую тряпку, и тряпке есть цена: ее хоть, по крайней мере, купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?»

«Уж это, точно, правда. Уж совсем ни на что не нужно; да ведь меня одно только и останавливает, что ведь они уже мертвые».

«Эк ее, дубинно-головая какая!» сказал про себя Чичиков, уже начиная выходить из терпения. «Пойди ты, сладь с нею! В пот бросила, проклятая старуха!» Тут он, Вынув из кармана платок, начал отирать пот, в самом деле выступивший на лбу. Впрочем, Чичиков напрасно сердился: иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводов, ясных, как день, всё отскакивает от него, как резиновый мяч отскакивает от стены. Отерши пот, Чичиков решился попробовать, нельзя ли ее навести на путь какую-нибудь иною стороною. «Вы, матушка», сказал он: «или не хотите понимать слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить... Я вам даю деньги: пятнадцать рублей ассигнациями. Понимаете ли? Ведь это деньги. Вы их не сыщете на улице. Ну, признайтесь, почему продали мед?»

«По 12-ти руб. пуд».

«Хватили немножко греха на душу, матушка. По двенадцати не продали».

«Ей-богу, продала».

«Ну, видите ль? Так зато же это мед. Вы собирали его, может быть, около года с заботами, со старанием, хлопотами; ездили, морили пчел, кормили их в погребе целую зиму, а мертвые души – дело не от мира сего. Тут вы с своей стороны никакого не прилагали старания: на то была воля божия, чтоб они оставили мир сей, нанеся ущерб вашему хозяйству. Там вы получили за труд, за старание двенадцать рублей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не

двенадцать, а пятнадцать, да и не серебром, а всё синими ассигнациями». После таких сильных убеждений Чичиков почти уже не сомневался, что старуха наконец поддастся.

«Право», отвечала помещица: «мое такое неопытное вдовье дело! лучше ж я маненько поременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам».

«Срам, срам, матушка! просто, срам! Ну, что вы это говорите, подумайте сами! Кто ж станет покупать их! На что они им? Ну, какое употребление он может из них сделать?»

«А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся...» возразила старуха, да и не кончила речи, открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет.

«Мертвые в хозяйстве! Эх куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?»

«С нами крестная сила! Какие ты страсти говоришь!» проговорила старуха, крестясь.

«Куда ж еще вы их хотели пристроить? Да, впрочем, ведь кости и могилы, всё вам остается: перевод только на бумаге. Ну, так что же? Как же? отвечайте, по крайней мере!»

Старуха вновь задумалась.

«О чем же вы думаете, Настасья Петровна?»

«Право, я всё не приберу, как мне быть; лучше я вам пеньку продам».

«Да что ж пенька? Помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суετε! Пенька пенькою, в другой раз приеду, заберу и пеньку. Так как же, Настасья Петровна?»

«Ей-богу, товар такой странный, совсем небывалый!»

Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения, хватил всердцах стулом об пол и посулил ей чорта.

Чорта помещица испугалась необыкновенно. «Ох, не припоминай его, бог с ним!» вскрикнула она, вся побледнев. «Еще третьего дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, в наказание-то бог и наслал его. Такой гадкий привиделся; а рога-то длиннее бычачьих».

«Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Из одного христианского человеколюбия хотел: вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду... да пропади они и околеи со всей вашей деревней!..»

«Ах, какие ты забранки пригинаешь!» сказала старуха, глядя на него со страхом.

«Да не найдешь слов с вами! Право, словно какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворянка, что лежит на сене: и сама не ест сена и другим не дает. Я хотел было закупать у вас хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду...» Здесь он пригнул, хоть и вскользь и без всякого дальнейшего размышления, но неожиданно-удачно. Казенные подряды подействовали сильно на Настасью Петровну; по крайней мере, она произнесла уже почти просительным голосом: «Да чего ж ты рассердился так горячо? Знай я прежде, что ты такой сердитый, да я бы совсем тебе и не прекословила».

«Есть из чего сердиться! Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из-за него сердиться!»

«Ну, да изволь, я готова отдать за пятнадцать ассигнацией! только смотри, отец мой, насчет подрядов-то: если случится муки брать ржаной, или гречневой, или круп, или скотины битой, так уж, пожалуйста, не обидь меня».

«Нет, матушка, не обижу», говорил он, а между тем отирал рукою пот, который в три ручья катился по лицу его. Он расспросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь поверенного или знакомого, которого бы могла уполномочить на совершение крепости и всего, что следует. «Как же, протопопа, отца Кирилла, сын служит в палате», сказала Коробочка. Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо и, чтобы избавить от лишних затруднений, сам даже взялся сочинить.

«Хорошо бы было», подумала между тем про себя Коробочка: «если бы он забирал у меня в казну муку и скотину, нужно его задобрить: теста со вчерашнего вечера еще осталось,

так пойти сказать Фетинье, чтоб спекла блинов; хорошо бы также загнуть пирог пресный с яйцом, у меня его славно загибают, да и времени берет немного». Хозяйка вышла с тем, чтобы привести в исполнение мысль насчет загнутия пирога и, вероятно, пополнить ее другими произведениями домашней пекарни и стряпни; а Чичиков вышел тоже в гостиную, где провел ночь, с тем, чтобы вынуть нужные бумаги из своей шкатулки. В гостиной давно уже было всё прибрано, роскошные перины вынесены вон, перед диваном стоял накрытый стол. Поставив на него шкатулку, он несколько отдохнул, ибо чувствовал, что был весь в поту, как в реке: всё, что ни было на нем, начиная от рубашки до чулок, всё было мокро. «Эк уморила как, проклятая старуха!» сказал он, немного отдохнувши, и отпер шкатулку. Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать план и внутреннее расположение шкатулки. Пожалуй, почему же не удовлетворить! Вот оно, внутреннее расположение: в самой середине мыльница, за мыльницею шесть-семь узеньких перегородок для бритв; потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленною между ними лодочкою для перьев, сургучей и всего, что подлиннее; потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек, для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист, потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, что наверно нельзя сказать, сколько было там денег. Чичиков тут же занялся и, очинив перо, начал писать. В это время вошла хозяйка.

«Хорош у тебя ящичек, отец мой», сказала она, подсевши к нему. «Чай, в Москве купил его?»

«В Москве», отвечал Чичиков, продолжая писать.

«Я уж знала это: там всё хорошая работа. Третьего года сестра моя привезла оттуда теплые сапожки для детей: такой прочный товар, до сих пор носится. Ахти, сколько у тебя тут гербовой бумаги!» продолжала она, заглянувши к нему в шкатулку. И в самом деле, гербовой бумаги было там немало. «Хоть бы мне листик подарил! а у меня такой недостаток; случится в суд просьбу подать, а и не на чем».

Чичиков объяснил ей, что эта бумага не такого рода, что она назначена для совершения крепостей, а не для просьб. Впрочем, чтобы успокоить ее, он дал ей какой-то лист в рубль ценою. Написавши письмо, дал он ей подписаться и попросил маленький списочек мужиков. Оказалось, что помещица не вела никаких записок, ни списков, а знала почти всех наизусть; он заставил ее тут же продиктовать их. Некоторые крестьяне несколько изумили его своими фамилиями, а еще более прозвищами, так что он всякой раз, слыша их, прежде останавливался, а потом уже начинал писать. Особенно поразил его какой-то Петр Савельев Неуважай-корыто, так что он не мог не сказать: «экой длинный!» Другой имел прицепленный к имени Коровий кирпич, иной оказался просто: Колесо Иван. Оканчивая писать, он потянул несколько к себе носом воздух и услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле.

«Прошу покорно закусить», сказала хозяйка. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припёками: припёкой с лучком, припёкой с маком, припёкой с творогом, припёкой со сняточками, и невесть чего не было.

«Пресный пирог с яйцом!» сказала хозяйка.

Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом и, съевши тут же с небольшим половину, похвалил его. И в самом деле, пирог сам по себе был вкусен, а после всей возни и проделок со старухой показался еще вкуснее.

«А блинков?» сказала хозяйка.



В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить его бричку. Настасья Петровна тут же послала Фетинью, приказавши в то же время принести еще горячих блинков.

«У вас, матушка, блинцы очень вкусны», сказал Чичиков, принимаясь за принесенные горячие.

«Да у меня-то их хорошо пекут», сказала хозяйка: «да вот беда: урожай плох, мука уж такая не авантажная... Да что же, батюшка, вы так спешите?» проговорила она, увидя, что Чичиков взял в руки картуз. «Ведь и бричка еще не заложена».

«Заложат, матушка, заложат. У меня скоро закладывают».

«Так уж пожалуйста, не позабудьте насчет подрядов».

«Не забуду, не забуду», говорил Чичиков, выходя в сени.

«А свиного сала не покупаете?» сказала хозяйка, следуя за ним.

«Почему не купить? Покупаю, только после».

«У меня о святках и свиное сало будет».

«Купим, купим, всего купим, и свиного сала купим».

«Может быть, понадобится еще птичьих перьев. У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья».

«Хорошо, хорошо», говорил Чичиков.

«Вот видишь, отец мой, и бричка твоя еще не готова», сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо.

«Будет, будет готова. Расскажите только мне, как добраться до большой дороги».

«Как же бы это сделать?» сказала хозяйка. «Рассказать-то мудрено, поворотов много; разве я тебе дам девчонку, чтобы проводила. Ведь у тебя, чай, место есть на козлах, где бы присесть ей».

«Как не быть».

«Пожалуй, я тебе дам девчонку; она у меня знает дорогу; только ты, смотри! не завези ее, у меня уже одну завезли купцы».

Чичиков уверил ее, что не завезет, и Коробочка, успокоившись, уже стала рассматривать всё, что было во дворе ее; вперила глаза на ключницу, выносившую из кладовой деревянную побратиму с медом, на мужика, показавшегося в воротах, и мало-помалу вся переселилась в хозяйственную жизнь. Но зачем так долго заниматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли жизнь или нехозяйственная – мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосыгаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита, где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные мысли, мысли, занимающие, по законам моды, на целую неделю город, мысли не о том, что делается в ее доме и в ее поместьях, запутанных и расстроенных, благодаря незнанию хозяйственного дела, а о том, какой политический переворот готовится во Франции, какое направление принял модный католицизм. Но мимо, мимо! зачем говорить об этом? Но зачем же среди недумающих, веселых, беспечных минут, сама собою, вдруг пронесется иная чудная струя? Еще смех не успел совершенно сбегать с лица, а уже стал другим среди тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо...

«А вот бричка, вот бричка!» вскричал Чичиков, увидев, наконец, подъезжавшую свою бричку. «Что ты, болван, так долго копался? Видно, вчерашний хмель у тебя не весь еще выветрило».

Селифан на это ничего не отвечал.

«Прощайте, матушка! А что же, где ваша девчонка?»

«Эй, Пелагея!» сказала помещица стоявшей около крыльца девчонке лет одиннадцати, в платье из домашней крашенины и с босыми ногами, которые издали можно было принять за сапоги, так они были облеплены свежою грязью. «Покажи-ка барину дорогу».

Селифан помог взлезть девчонке на козлы, которая, ставши одной ногой на барскую ступеньку, сначала запачкала ее грязью, а потом уже взобралась на верхушку и поместилась возле него. Вслед за нею и сам Чичиков занес ногу на ступеньку и, понагнувши бричку на правую сторону, потому что был тяжеленек, наконец поместился, сказавши: «А! теперь хорошо! Прощайте, матушка!» Кони тронулись.

Селифан был во всю дорогу суров и с тем вместе очень внимателен к своему делу, что случилось с ним всегда после того, когда либо в чем провинился, либо был пьян. Лошади были удивительно как вычищены. Хомут на одной из них, надевавшийся дотоле почти всегда в разодранном виде, так что из-под кожи выглядывала пакля, был искусно зашит. Во всю дорогу был он молчалив, только похлестывал кнутом и не обращал никакой поучительной речи к лошадям, хотя чубарому коню, конечно, хотелось бы выслушать что-нибудь наставительное, ибо в это время вожжи всегда как-то лениво держались в руках словоохотного возницы, и кнут только для формы гулял поверх спин. Но из угрюмых уст слышны были на сей раз одни однообразно-неприятные восклицания: «Ну же, ну, ворона! зевай! зевай!» и больше ничего. Даже сам гнедой и Заседатель были недовольны, не услышавши ни разу ни любезные, ни почтенные. Чубарый чувствовал пренеприятные удары по своим полным и широким частям. «Вишь ты, как разнесло его!» думал он сам про себя, несколько припрыдывая ушами. «Небось, знает, где бить! Не хлыснет прямо по спине, а так и выбирает место, где поживее: по ушам зацепит или под брюхо захлыснет».

«Направо, что ли?» с таким сухим вопросом обратился Селифан к сидевшей возле него девчонке, показывая ей кнутом на почерневшую от дождя дорогу между яркозелеными, освещенными полями.

«Нет, нет, я уж покажу», отвечала девчонка.

«Куда ж?» сказал Селифан, когда подъехали поближе.

«Вот куды», отвечала девчонка, показавши рукою.



– Направо, что ли? – с таким сухим вопросом обратился Селифан к сидевшей возле него девчонке, показывая ей кнутом на почерневшую от дождя дорогу между ярко-зелеными, освеженными полями.

– Нет, нет, я уж покажу, – отвечала девчонка.

– Куда ж? – сказал Селифан, когда подъехали поближе. – Вот куды, – отвечала девчонка, показывая рукою.

– Эх ты! – сказал Селифан. – Да это и есть направо: не знает, где право, где лево!

«Эх ты!» сказал Селифан. «Да это и есть направо: не знает, где право, где лево!»

Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею как войлоком, что значительно отяжело экипаж; к тому же почва была глиниста и цепка необыкновенно. То и другое было причиною, что они не могли выбраться из проселков раньше полудня. Без девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпят из мешка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей вине. Скоро девчонка показала рукою на черневшее вдали строение, сказавши: «Вон столбовая дорога!»

«А строение?» спросил Селифан.

«Трактир», сказала девчонка.

«Ну, теперь мы сами доедем», сказал Селифан: «ступай себе домой».

Он остановился и помог ей сойти, проговорив сквозь зубы: «Эх ты, черноногая!»

Чичиков дал ей медный грош, и она побрела восвояси, уже довольная тем, что посидела на козлах.

## Глава IV

Подъехавши к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам: с одной стороны, чтоб дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтоб и самому несколько закусить и подкрепиться. Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не значат все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра и какой бы обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот обед не иначе, как отправивши прежде в рот пилюлю, глотающие устриц, морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в Карлсбад или на Кавказ Нет, эти господа никогда не возбуждали в нем зависти. Но господа средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеченную колбасу с луком и потом как ни в чем не бывало садятся за стол, в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимками и моллюсками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая расстегаем или кулебякой с сомовым плесом, так что вчуже пронимает аппетит, – вот эти господа, точно, пользуются завидным даянием неба! Не один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и незаложенных, со всеми улучшениями на иностранную и русскую ногу, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки, но то беда, что ни за какие деньги, с улучшениями и без улучшений, нельзя приобрести такого желудка, какой бывает у господина средней руки.

Деревянный, потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные его стены; на ставнях были нарисованы кувшины с цветами.

Взобравшись узенькою деревянною лестницею наверх, в широкие сени, он встретил отворившуюся со скрипом дверь и вместе с нею исходивший свет и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую: «Сюда пожалуйте!» В комнате попались всё старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало повыстроено по дорогам, а именно: заиндевевший самовар, выскобленные гладко сосновые стены, треугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички пред образами, висевшие на голубых и красных ленточках, окотившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку; наконец натканые пучками душистые травы и гвоздики у образов, высохшие до такой степени, что желавший понюхать их только чихал и больше ничего.

«Поросенок есть?» с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе.

«Есть».

«С хреном и со сметаною?»

«С хреном и со сметаною».

«Давай его сюда!»



- *Поросенок есть?* – с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе.
- *Есть.*
- *С хреном и со сметаной?*
- *С хреном и со сметаной.*
- *Давай его сюда!*

Старуха пошла копаться и принесла тарелку, салфетку, накрахмаленную до того, что дыбилась, как засохшая кора, потом нож с пожелтевшею костяною колодочкою, тоненький, как перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол.

Герой наш по обыкновению сейчас вступил с нею в разговор и расспросил, сама ли она держит трактир или есть хозяин, и сколько дает доходу трактир, и с ними ли живут сыновья, и что старший сын – холостой или женатый человек, и какую взял жену, с большим ли приданым или нет, и доволен ли был тесть, и не сердился ли, что мало подарков получил на свадьбе;

словом, не пропустил ничего. Само собою разумеется, что полюбопытствовал узнать, какие в окрестности находятся у них помещики, и узнал, что всякие есть помещики: Блохин, Почитаев, Мыльной, Чепраков полковник, Собакевич. «А! Собакевича знаешь?» спросил он и тут же услышал, что старуха знает не только Собакевича, но и Манилова, и что Манилов будет поделикатней Собакевича: велит тотчас сварить курицу, спросит и телятинки; коли есть баранья печенка, то и бараньей печенки спросит, и всего только что попробует, а Собакевич одного чего-нибудь спросит, да уж зато всё съест, даже и подбавки потребует за ту же цену.

Когда он таким образом разговаривал, кушая поросенка, которого оставался уже последний кусок, послышался стук колес подъехавшего экипажа. Выглянувши в окно, увидел он остановившуюся перед трактиром легонькую бричку, запряженную тройкою добрых лошадей. Из брички вылезали двое каких-то мужчин. Один белокурый, высокого роста; другой немного пониже, чернявый. Белокурый был в темно-синей венгерке, чернявый просто в полосатом архалуке. Издали тащилась еще колясочка, пустая, влекомая какой-то длинношерстной четверней с изорванными хомутами и веревочной упряжью. Белокурый тотчас же отправился по лестнице наверх, между тем как черномазый еще оставался и щупал что-то в бричке, разговаривая тут же со слугою и махая в то же время ехавшей за ними коляске. Голос его показался Чичикову как будто несколько знакомым. Пока он его рассматривал, белокурый успел уже нащупать дверь и отворить ее. Это был мужчина высокого роста, лицом худощавый, или, что называют, издержанный, с рыжими усиками. По загоревшему лицу его можно было заключить, что он знал, что такое дым, если не пороховой, то по крайней мере табачный. Он вежливо поклонился Чичикову, на что последний ответил тем же. В продолжение немногих минут они, вероятно бы, разговорились и хорошо познакомились между собою, потому что уже начало было сделано, и оба почти в одно и то же время изъявили удовольствие, что пыль по дороге была совершенно прибита вчерашним дождем, и теперь ехать и прохладно и приятно, как вошел чернявый его товарищ, сбросив с головы на стол картуз свой, молодцевато взъерошив рукой свои черные густые волосы. Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его.

«Ба, ба, ба!» вскричал он вдруг, расставив обе руки при виде Чичикова. «Какими судьбами?»



– Ба, ба, ба! – вскричал он вдруг, расставив обе руки при виде Чичикова. – Какими судьбами? Куда ездил? А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух! Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался...

Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить ты, хотя, впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода.

«Куда ездил?» говорил Ноздрев и, не дождавшись ответа, продолжал далее: «А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух! Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался. Ведь я на обывательских приехал! Вот посмотри нарочно в окно!» Здесь он нагнул сам голову Чичикова, так что тот чуть не ударился ею об рамку. «Видишь, какая дрянь! насилу дотащили



проклятые; я уже пересел вот в его бричку». Говоря это, Ноздрев указал пальцем на своего товарища. «А вы еще не знакомы? Зять мой Мижуев! Мы с ним всё утро говорили о тебе. «Ну, смотри, говорю, если мы не встретим Чичикова». Ну, брат, если б ты знал, как я продулся! Поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков – просто всё спустил. Ведь на мне нет ни цепочки, ни часов...» Чичиков взглянул и увидел точно, что на нем не было ни цепочки, ни часов. Ему даже показалось, что и один бакенбард был у него меньше и не так густ, как другой. «А ведь будь только двадцать рублей в кармане», продолжал Ноздрев: «именно не больше, как двадцать, я отыграл бы всё, то есть, кроме того, что отыграл бы, вот, как честный человек, тридцать тысяч сейчас положил бы в бумажник».

«Ты, однако ж, и тогда так говорил», отвечал белокурый: а когда я тебе дал пятьдесят рублей, тут же просадил их».

«И не просадил бы! ей-богу, не просадил бы! Не сделай я сам глупость, право, не просадил бы. Не загни я после пароле на проклятой семерке утку, я бы мог сорвать весь банк».

«Однако ж не сорвал», сказал белокурый.

«Не сорвал, потому что загнул утку не во время. А ты думаешь, майор твой хорошо играет?»

«Хорошо или не хорошо, однако ж он тебя обыграл». «Эка важность!» сказал Ноздрев. «Этак и я его обыграю. Нет, вот попробуй он играть дублетом, так вот тогда я посмотрю, я посмотрю тогда, какой он игрок! Зато, брат Чичиков, как покутили мы в первые дни! Правда, ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. У меня всё, что ни привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене. Эх, братец! как покутили! Теперь даже, как вспомнишь... чорт возьми! То есть как жаль, что ты не был! Вообрази, что в трех верстах от города стоял драгунский полк. Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, сорок человек одних офицеров было в городе; как начали мы, братец, пить... Штабс-ротмистр Поцелуев... такой славный! усы, братец, такие! Бордо называет просто бурдашкой. «Принеси-ка, брат, говорит, бурдашки!» Поручик Кувшинников... Ах, братец, какой премильный человек! вот уж, можно сказать, во всей форме кутила. Мы всё были с ним вместе. Какого вина отпустил нам Пономарев! Нужно тебе знать, что он мошенник и в его лавке ничего нельзя брать: в вино мешает всякую дрянь: сандал, жженую пробку, и даже бузиной, подлец, затирает, но зато уж если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку, ну просто, брат, находишься в эмпиреях. Шампанское у нас было такое, – что пред ним губернаторское? просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико матрадура; это значит двойное клико. И еще достал одну бутылочку французского под названием: бонбон. Запах? – розетка и всё, что хочешь. Уж так покутили!.. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским, нет ни одной бутылки во всем городе, всё офицеры выпили. Веришь ли, что я один в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского!»

«Ну, семнадцать бутылок ты не выпьешь», заметил белокурый.

«Как честный человек говорю, что выпил», отвечал Ноздрев.

«Ты можешь себе говорить, что хочешь, а я тебе говорю, что и десяти не выпьешь».

«Ну, хочешь об заклад, что выпью?»

«К чему же об заклад?»

«Ну, поставь свое ружье, которое купил в городе».

«Не хочу».

«Ну, да поставь, попробуй!»



- Ты можешь себе говорить, что хочешь, а я тебе говорю, что и десяти не выпьешь.
- Ну хочешь об заклад, что выпью!
- К чему же об заклад?

«И пробовать не хочу».

«Да, был бы ты без ружья, как без шапки. Эх, брат Чичиков, то есть как я жалел, что тебя не было! Я знаю, что ты бы не расстался с поручиком Кувшинниковым. Уж как бы вы с ним хорошо сошлись! Это не то, что прокурор и все губернские скряги в нашем городе, которые так и трясутся за каждую копейку. Этот, братец, и в гальбик, и в банчишку, и во всё, что хочешь. Эх, Чичиков, ну что бы тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это, скотовод эдакой! поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя! Мижуев, смотри: вот судьба свела: ну что он мне или я ему? он приехал бог знает откуда, я тоже здесь живу... А сколько, брат, было карет, и всё это en gros. В фортунку крутнул, выиграл две банки помады, фарфоровую чашку и гитару; потом опять поставил один раз и прокрутил, канальство, еще сверх шесть целковых.

А какой, если б ты знал, волокита Кувшинников! Мы с ним были на всех почти балах. Одна была такая разодетая, рюши на ней, и трюши, и чорт знает чего не было... я думаю себе только: «чорт возьми!» А Кувшинников, то есть это такая бестия, подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты... Поверишь ли, простых баб не пропустил. Это он называет: попользоваться насчет клубнички. Рыб и балыков навезли чудных. Я таки привез с собою один, хорошо, что догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь едешь?»

«А я к человечку к одному», сказал Чичиков.

«Ну, что человечек, брось его! поедem ко мне!»

«Нет, нельзя, есть дело».

«Ну, вот уж и дело! уж и выдумал! ах ты Оподелдок Иванович!»

«Право, дело, да еще и нужное».

«Пари держу, врешь! Ну, скажи только, к кому едешь?»

«Ну, к Собакевичу».

Здесь Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий, здоровый человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы, дрожат и прыгают щеки, и сосед за двумя дверями, в третьей комнате, вскидывается со сна, вытаращив очи и произнося: «Эк его разобрало!»

«Что ж тут смешного?» сказал Чичиков, отчасти недовольный таким смехом.

Но Ноздрев продолжал хохотать во все горло, приговаривая: «Ой, пощади! право, тресну со смеху!»

«Ничего нет смешного: я, дал ему слово», сказал Чичиков.

«Да ведь ты жизни не будешь рад, когда приедешь к нему, это просто жидомор! Ведь я знаю твой характер, ты жестоко опешишься, если думаешь найти там банчишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братец: ну к чорту Собакевича, поедem-ка сейчас ко мне! каким балыком попотчую! Пономарев, бестия, так раскланивался, говорит: для вас только; всю ярмарку, говорит, общите, не найдете такого. Плут, однако ж, ужасный. Я ему в глаза это говорил: «Вы, говорю, с нашим откупщиком первые мошенники!» Смеется, бестия, поглаживая бороду. Мы с Кувшинниковым каждый день завтракали в его лавке. Ах, брат, вот позабыл тебе сказать: знаю, что ты теперь не отстанешь, но за десять тысяч не отдам, наперед говорю. Эй, Порфирий!» закричал он, подошедши к окну, на своего человека, который держал в одной руке ножик, а в другой корку хлеба с куском балыка, который посчастливилось ему мимоходом отрезать, вынимая что-то из брички. «Эй, Порфирий!» кричал Ноздрев: «принеси-ка щенка! Каков щенок!» продолжал он, обращаясь к Чичикову. «Краденый, ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменял у Хвостырева...» Чичиков, впрочем, отроду не видал ни каурой кобылы, ни Хвостырева.

«Барин! ничего не хотите закусить?» сказала в это время, подходя к нему, старуха.

«Ничего. Эх, брат, как покутили! Впрочем, давай рюмку водки, какая у тебя есть?»

«Анисовая», отвечала старуха.

«Ну, давай анисовой», сказал Ноздрев.

«Давай уж и мне рюмку!» сказал белокурый.

«В театре одна актриса так, каналья, пела, как канарейка! Кувшинников, который сидел возле меня, «вот, говорит, брат, попользоваться бы насчет клубнички!» Одних балаганов, я думаю, было пятьдесят. Фенарди четыре часа вертелся мельницею». Здесь он принял рюмку из рук старухи, которая ему за то низко поклонилась. «А, давай его сюда!» закричал он, увидевши Порфирия, вошедшего с щенком. Порфирий был одет так же, как и барин, в каком-то архалуке, стеганом на вате, но несколько позамаслянней.

«Давай его, клади сюда на пол!»

Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все четыре лапы, нюхал землю.

«Вот щенок!» сказал Ноздрев, взявши его за спинку и приподнявши рукою. Щенок испустил довольно жалобный вой.

«Ты, однако ж, не сделал того, что я тебе говорил», сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая тщательно брюхо щенка: «и не подумал вычесать его?»

«Нет, я его вычесывал».

«А отчего же блохи?»

«Не могу знать. Статься может, как-нибудь из брички поналезли».

«Врешь, врешь, и не воображал чесать; я думаю, дурак, еще своих напустил. Вот посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши, на-ка пощупай рукою».

«Да зачем, я и так вижу: доброй породы!» отвечал Чичиков.

«Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши!»

Чичиков в угодность ему пощупал уши, примолвивши: «Да, хорошая будет собака».

«А нос, чувствуешь, какой холодный? возьми-ка рукою». Не желая обидеть его, Чичиков взял и за нос, сказавши: «Хорошее чутье».



- Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши!
- Чичиков в угодность ему пощупал уши, примолвивши:
- Да, хорошая будет собака.
- А нос, чувствуешь, какой холодный? возьми-ка рукою.
- Не желая обидеть его, Чичиков взял и за нос, сказавши:
- Хорошее чутье.

«Настоящий мордаш», продолжал Ноздрев. «Я, признаюсь, давно острил зубы на мордаша. На, Порфирий, отнеси его!»

Порфирий, взявши щенка под брюхо, унес его в бричку.

«Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне; пять верст всего, духом домчимся, а там, пожалуй, можешь и к Собакевичу».

«А что ж», подумал про себя Чичиков: «заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем же он хуже других? такой же человек, да еще и проигрался. Горазд он, как видно, на всё; стало быть,

у него даром можно кое-что выпросить». «Изволь, едем», сказал он, «но, чур, не задержать, мне время дорого».

«Ну, душа, вот это так! Вот это хорошо! Пстой же! я тебя поцелую за это». Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались. «И славно: втроем и покатым!»

«Нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти», говорил белокурый: «мне нужно домой».

«Пустяки, пустяки, брат, не пушу».

«Право, жена будет сердиться, теперь же ты можешь пересесть вот в ихнюю бричку».

«Ни, ни, ни! И не думай!»

Белокурый был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое-то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противоположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что в особенности не согласятся плясать по чужой дудке; а кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупое назовут умным и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку, словом, начнут гладью, а кончат гадью.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.